VASA INIQUITATIS
СОСУД БЕЗЗАКОНИЯ

Эрве Гибер

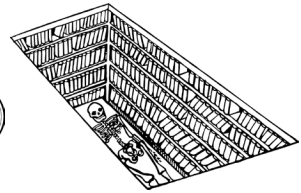
СЛЕПЫЕ

Перевод Алексея Воинова

Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр

61 т



Hervé Guibert
Des aveugles

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка: Алексей Кропин
Верстка: Дарья Громова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

В оформлении обложки использован автопортрет Эрве Гибера, 1986

©1985 by Gallimard, Paris
© Kolonna Publications, 2019
Перевод © Алексей Воинов, 2019

ISBN 978-5-98144-248-3

Они напялили унылые одежды, рогатые шлемы, серые плоские маски, шуршащие бесформенные накидки, личины без прорезей, диадемы из грязи, воротники из стекол, никчемные расцвеченные лазурью тряпки, блекло-синие, ярко-алые шелковые пижамы, пижамы сизые, ядовито-зеленые, грязно-бурые, перевязи и короны из погремушек, изображали они не людей, а мерцанье луны, ручьи, грозовые всполохи, извержения, вокруг был сверкающий мрак, по рукам бежал легкий хруст, неслись блуждающие огни, сами они хлестали чистейший спирт, не страшась свернуть шеи, пускались в пляс, дудели в рожки, глазницы у них пылали, они выменивали мягкие туфли на треуголки, подвязывали к парикам ленты, на руках были перчатки из листьев, ноги горели, они носились по коридору, перепрыгивая препятствия, одни изображали столбы, другие стали санями, кто-то представал Ниагарой, а кто-то Монбланом, они пожирали многоэтажные пирожные, они были вместе, влюбленные, пот лился градом, источая незнакомые прежде запахи – мужские и

---

* Мишелю Фуко. Книга вышла через год после его смерти *(здесь и далее прим. переводчика).*

женские, звериные и мертвецкие – они гонялись друг за другом по саду, валяясь и ползая, как заведенные, поджигатели сражались с фокусниками, все восхитительно распластывались по земле. На плакате в вестибюле указывалось, что вход без костюма категорически воспрещен и любой уклонист будет наказан. Но кто мог видеть этот плакат? И кто мог демонстративно явиться сюда без костюма? Жозетт и Робер – два отщепенца – взявшись за руки, сидели в стороне от празднества, в простой повседневной одежке, проклиная доносившиеся к ним жалящие волны смеха, печально твердя о собственном превосходстве и представляя, не сговариваясь, одни и те же картины гибельного отмщения: дрожащие руки сжимают кинжалы, с которых по капле стекает кровь. Наутро они были просто без сил.

Жозетт надела привезенную из Нумеа майку и отправилась на набережную Межисри, чтобы купить четырех белых мышей. Она не увидела ни утят, ни индюшат, ни серой мандаринки, ни волнистых попугайчиков, ни ворчливого альбиноса, впрочем, клетки были пустыми, их как раз чистили. Она пришла по адресу – это был «Рай». «В „Раю“ есть все!» – котята, щенки, при покупке дюжины цыплят тринадцатого дают бесплатно – это к несчастью. А больше всего там было мух – из-за жары – и еще жутко воняло. Она направилась сразу к прилавку, сказав: «Здравствуйте, я хочу купить четырех белых мышей!» – «Точно? Быть может, вам нужен кролик?» – спросил продавец. – «Нет, я хочу именно четырех белых мышей!» – «Быть может, вам нужен лебедь? Он тоже белый! Мыши

так быстро плодятся, одна только морока. Так что, возьмете четырех самцов или самок?» – «Да нет, нужны две самки и два самца!» – «Их сложно распознать, но сейчас подберем. Там рядом с вами есть миниатюрные кактусы, – магазин принадлежит моему кузену, – не желаете взять себе кактус?» – «Нет-нет!» – сказала Жозетт. – «Что ж, мышкам бы кактус понравился. Вот вам два прекрасных самца и две симпатичных самки, могу добавить еще одну, если хотите!» – «Нет-нет, это как раз две пары». Мыши были премилые: маленькие красные глазки, подвижные ушки, напоминавшие по форме ореховые скорлупки; они то замирали, то шебутились, то что-нибудь грызли, болтая влажными розовыми хвостиками. «Мне бы хотелось их потрогать», – сказала Жозетт. «Двухцветные – по двадцать пять франков, а с рыжиной – по тридцать пять франков за штуку. Их можно кормить опилками или клочками картона. Им все сойдет, – сказал продавец, – можете кормить тем, что едите сами, а еще они обожают грызть ногти, если у вас маникюр». Лицо Жозетт засияло: она чувствовала, как в ладонь тычется крохотная мордашка.

«Ах, маленькая белая мышка!» – воскликнула Жозетт. – «Да нет, мадам, абсолютно белых мышей не бывает, смотрите: хвостик розовый, брюшко серое, лапки у них тоже розовые. Получается, белые мыши – не такие уж белые! Я предлагал вам белого лебедя только что по чистой своей безалаберности – лебеди тоже на самом деле не белые, разве что издалека, когда глядишь на них возле пруда, смотрите, этот вот – просто серый, почти такого же цвета, что какая-нибудь серая крыса. И вообще, чистый белый в приро-

де не существует, так что ни один натуралист не может вам предложить по-настоящему белого зверя. Я вот за окрас не ручаюсь». Он стиснул мышь, та запищала. «Вы делаете ей больно!» – сказала Жозетт. «Да нет, – возразил торговец, – чтобы сделать больно, надо сдавить в другом месте, вот здесь, тогда она сразу лопнет – эвтаназия!» Жозетт его больше не слушала, она стояла с рассеянным видом, тихо повторяя: «Розовый, серый...» – «Ну да, розовый, серый, вы что, не видите?» – «Нет, не вижу!» – ответила Жозетт. «Да что с ними сегодня такое, они что все, не видят, что я не вижу?!» – сказала Жозетт Роберу, вернувшись домой. – «А знаешь, что мне сегодня пришлось услышать? – воскликнул Робер. – Какой-то тип сказал мне в спину: „Не нравится мне эта молодежь в черных очках, они все какие-то скрытные!“»

Робер тоже только что получил денежное пособие и сразу отправился в магазин, чтобы купить кожаный комбинезон мотоциклиста с синими нашивками, красным, как мак, ремнем и двумя молниями по бокам, достаточно было сделать всего нескольких движений, и комбинезон мог мгновенно соскользнуть, упав к ногам, он был непродуваемым, непромокаемым и к тому же оснащен системой внутренней вентиляции, специальными креплениями для каски и обуви, прилегающим к телу прочным потайным карманом, незаметными застежками для наушников и стоил целое состояние. Мотоцикла у Робера пока еще не было. Вернувшись домой, он вытащил комбинезон из пакета и повесил на вешалку, чтобы тот был у всех на виду.

«Тебе нравится?» – спросил Робер. – «Я тебя знаю, – ответила Жозетт, – ты никогда его не наденешь». Она поставила картонную коробку, в которой шуршали от нетерпения мыши, высовывая наружу усики и дыша сквозь проделанные для воздуха дырки. «Какая возня, вот уж противные твари, – сказал Робер, – куда мы их денем? Пусть сидят в миске для блинного теста, а сверху накроем пластиковой крышкой с отверстиями. Но она ведь свалится, и твоих мышей раздавят. Что они жрут?» – «То же, что едим мы», – ответила Жозетт. «Завтра ими займемся, – проговорил Робер, – взгляни на мой комбинезон, прикинь на руке, какой он тяжелый, тебе нравится?» – «В нем, наверное, сильно потеешь», – предположила Жозетт. «А вот и нет, там есть система вентиляции. Хочешь, примерю?» – «Нет, в другой раз, я вымоталась в дороге», – ответила Жозетт.

Жозетт потеряла зрение таинственным образом, когда ей исполнилось годика три: у нее были голубые глаза, и в течение трех дней их ясный цвет словно бы растворился, куда-то потихоньку утек, словно стершись под веками, совершенно при том безболезненно. Роговицы побелели, как молоко, но по краям остался ободок с очень яркими вкраплениями густой синевы; было похоже на настоящий фарфор и как-то даже смущало, словно в живом теле обреталось нечто инородное; казалось, кто-то проткнул эти радужки, желая заполучить вещество подобного цвета, однако никаких следов от ран заметить было нельзя. Кумушки судачили: все потому, что мать бросила ребенка в навозную яму. Жозетт никогда не говорила о том, что видела белый свет; она

говорила, что родилась слепой; на самом же деле у нее остались страшные расплывчатые воспоминания, и память старалась скорее стереть их, нежели удержать.

Робер никогда не видел ни одной вещи, ни одного пейзажа во всей полноте, судьба жестоко с ним обошлась, проткнув при рождении оба глаза крохотными иголочками, словно бы устремив все зрение по узкому коридору, как если бы взгляд исходил из камеры-обскуры, как если бы посреди чернильного неба светили лишь две звезды, и в сознании запечатлевались лишь яркие пятна и брызги красок, не дававшие никакого представления о внешнем мире, а только ранившие, поскольку взгляд был не в силах на чем-либо остановиться, диафрагма не действовала, показывая лишь что-то грубое и бесполезное, Робер постоянно страдал от ослепления, какое бывает, когда солнце выходит после затмения, он мечтал, чтобы глаза его были постоянно чем-то защищены, навсегда скрыты под утоляющей боль глиной или непроницаемым пластырем. И никогда не надеялся, что два жалких отверстия, через которые проглядывал мир, каким-нибудь чудом смогут расшириться: он желал их замуровать. Он собрал бессчетное множество темных очков. Однажды, будучи еще ребенком, он пытался рассмотреть собственное лицо, стараясь хоть что-то удержать в памяти – так художник по обрывочным сведениям стремится воссоздать облик умершего, – но лишь тыкался головой в зеркало, снова и снова, быстрее, – так в планетарии техника вдруг выходит из строя и все телескопы ломаются, за ис-

ключением одного, – он уже со всего маху бился головою о зеркало, едва не сворачивая себе шею. Отец, прибежав, пытался уберечь его бедное, обезумевшее, залитое слезами лицо от осколков, ребенок все еще дергался, ослабев от ударов. Робер так и не смог себя разглядеть: ему виделись волчья морда, потоки соплей, крови, сплошной вихрь живой плоти.

11

Когда Жозетт минуло десять, мать заперла ее, желая потренировать, в комнате со множеством странных предметов. Жозетт сразу почувствовала запах незнакомого мужчины, принялась задавать ему вопросы, угрожала. Но никакого мужчины в комнате не было, тогда она решила, что там есть змея, она представляла ее приблизительно так же, как провидцы представляют допотопных животных, она вовсе не собиралась ловить ее или нападать, она лишь хотела, чтобы змея не кинулась и не укусила, хотела стать вдруг как можно меньше. Едва войдя в освещенную комнату, она сразу же замерла. Она собиралась пройти вдоль стены и обследовать помещение, которое было ей незнакомо. Подумала зарыдать, чтобы мать над ней сжалилась. Она села на корточки, сдавив мочевой пузырь, но не описалась, снова поднялась на ноги. Вытянула вперед руки и пошла по прямой, очень скоро она споткнулась, поскольку одна из призм, поставленных матерью, по высоте была ей только до пояса. Она сразу же нащупала край конструкции и попыталась отыскать на плоскости какое-либо отверстие, но та плоскость переходила в другую, такую же гладкую, что и первая, Жозетт не догадывалась, что это может

быть нечто пустое, полое, подозревала, что это какое-то устройство, ловушка с защелкой, она трижды обошла вокруг пирамиды и, наконец, поняла, что может ее перевернуть, сесть на краю и обследовать всю квадратную поверхность: «Вот где можно побарабанить, – сказала она себе, – только чуть позже». Она продолжила разведывательные маневры, сбившись с прямого пути, шла где попало, и каждый раз, когда приближалась к стене, та от нее отдалялась. Поэтому она не нащупала наклеенных матерью желатиновых моллюсков. Сделав еще шаг, правой ногой она поддала завертевшийся шар. «Лучше б я осталась сидеть на той горке», – подумала она, по-прежнему продвигаясь вперед, но шар внизу больше не прыгал, тогда она встала на четвереньки, чтобы отыскать его ощупью, представив, будто забралась в муравейник или сточную канаву, потом заснула. Проснувшись, она обнаружила, что держит шар в объятьях, прижав к животу, тогда она повернулась, навалившись на него сверху и вытянув руки, чтобы прокатиться, сказала шару: «Ты будешь моей черепахой, а я – твоим панцирем. Бедная черепашка!» Она потащила шар за собой. Обследовав комнату во всех направлениях, она поняла, что не может отыскать пирамиду, и там появился новый предмет, который – она чувствовала – постоянно от нее ускользает. Она бросила шар: «Быть может, оно тут все намагничено», – сказала она себе, но шар с места не двинулся. Она быстро подсчитала в уме, что к незнакомому предмету можно приблизиться, сделав три шага влево и два назад. Этим предметом оказался куб, она уселась на него, и теперь пирамида была от нее

на расстоянии вытянутой руки, она ее как следует стукнула, сдвинув у основания, и водрузила себе на голову, словно то шляпа, опять взяла в руки шар и принялась ждать: «В конце концов эта идиотка когда-нибудь за мной явится!» – сказала она себе. Мать ждала за дверью, она заранее приготовила вату и настойку арники, чтобы промыть ссадины. Но Жозетт не поранилась вовсе. «Ты сможешь устроиться в жизни», – сказала ей мать, она так устала, пока мастерила из картона эти фигуры.

Робер играл с мячом, внутри которого что-то позвякивало. Он не мог без него обходиться. При каждом броске от мяча исходил звук, стихавший, когда мяч замирал на месте. Робер играл в одиночестве. Он уходил прочь от фамильного дома, держа в руках мяч, когда же сбивался с пути – наконец-то, поскольку этого всегда и хотел, – он изо всех сил бросал мяч как можно дальше. Мяч издавал звуки, похожие на те, что возникают, когда от поверхности воды отскакивает брошенный камень; Робер останавливался, следя по звуку за тем, куда укатился мяч, ждал, когда шум затихнет, чтобы отправиться вслед на поиски, он всегда находил свой мяч, слух у него был безошибочный. Однажды мяч сквозь распахнутое окно угодил на кровать, где сношалась какая-то парочка, любовники сразу же бросили мяч обратно, и, когда Робер вновь подобрал его, он различил на круглой поверхности картину случки: большой размалеванный мяч стал подобием глаза. Потом как-то раз, когда он отыскал мяч после долгого

бега, он взял его из рук, оказавшихся при касании ледяными, визави не издал при этом ни звука, стоило только до него дотронуться, он тут же рассеялся.

Мыши были премиленькие. Жозетт разместила их в коробке, оставшейся с прошлого года от зимних ботинок, – не страшно, что та не отличалась прозрачностью, к тому же мыши вечно скользили по дну емкости, куда она определила их изначально. Еще она считала, что мыши, которым она давала еду и кров, должны ей возвращать что-то взамен. Порой коробка из-под ботинок превращалась в маленькую фабрику по переработке отходов, когда она приводила себя в порядок – Жозетт кидала туда всякие крохи – застывшие выделения, которые были порой по утрам в краешках глаз, кусочки отставшей кожи, корки от камамбера, ватные палочки, – Жозетт сказала себе, что в конце концов там образуется идеальная среда для зверушек. Порой она опускала в коробку ногу, чтобы мыши ее щекотали, и те не разочаровывали: признательные зверьки верно служили. Когда Жозетт оставалась с мышами наедине, она раздевалась донага, брала их по паре и, ловко изогнувшись, устраивала катания с горок, мыши неслись с ее плеч к ягодицам.

Комната Жозетт и Робера находилась в южном крыле Института. Воспитывались они порознь в северном и восточном, а познакомились на школьном дворе меж ними: двор и классные комнаты были общими. Все здания, окруженные са-

дом с высокими стенами, образовывали крест: в северном крыле на третьем этаже располагалась детская спальня для мальчиков, на четвертом – мужская спальня для взрослых; женская половина размещалась ровно так же в крыле восточном. На третьем этаже южного крыла жили пары, в западном крыле обретались те, кто в браке не состоял. Квартиры руководства, административного и обслуживающего персонала, директора и инспектора школы, преподавателей, офтальмолога, зубного врача, психолога и психиатра находились на четвертых этажах крыла западного и восточного, по разные стороны от квартиры генерального директора, окна которой смотрели на главный вход Института. Имелся также другой, менее помпезный запасной вход во дворе у взрослых меж северным и западным зданиями, там стояла всегда запертая решетка. На пятом этаже было множество коридоров, соединявших все четыре крыла, но входить туда постояльцам было запрещено, если только им не давалось специальное разрешение, там располагались хранилища для белья, приемные залы и обустроенные по распоряжению руководства на случай войны тайные склады, увеличивавшие вдвое те продовольственные запасы, что громоздились в подвальных холодильниках западного крыла. В центре крестообразного здания на первом этаже был величественный музыкальный зал с органом, колоннадами белого мрамора, балконом и украшенными витражами слуховыми оконцами; узкие, обитые красным бархатом скамьи, составленные, как в амфитеатре, вокруг безупречно отполированного бёзендорфера, могли служить для молитвы, священник боролся за это помещение с

музыкальным руководителем, одни называли зал церковным, другие принимали его за простую аудиторию; там все сохранялось в неизменном виде со времен основания Института в 1823 году. В подвале находилось огромное, похожее по форме на звезду банное отделение, поскольку Институт возводился над сетью грунтовых вод, объявленных врачами особенно благотворными для лечения конъюнктивитов и служащих основой для приготовления множества глазных средств: в общем зале вокруг бассейна с горячей водой стояли медные ванны, за ними располагались ряды душевых, далее закручивающийся спиралью путь вел к массажным кабинкам; можно было получить самые разнообразные услуги, имея специальные талоны, вроде тех, что предназначаются для столовых. Столовые для пансионеров и служащих размещались соответственно в крыле восточном и западном: во всем здании соблюдалась симметрия, за исключением церковной аудитории и банного отделения. В квартирах администрации имелись собственные обеденные зоны, в западной части располагалась столовая для мелких служащих, сталкиваться с которыми Жозетт и Роберу не особенно нравилось, поэтому они поставили у себя переносную плитку. В лавке рядом с кухней продавались готовые горячие блюда и замороженные продукты, чаще всего рыба. Ларек с разнообразным товаром держал консьерж, у которого была своя хибарка у подножия монумента. На пьедестале возвышались две статуи: мужчина простер руку над головой босого нищего мальчика, у которого на коленях, обтянутых зеленой тафтой, – неизвестно, кому именно пришла в голову безумная мысль раскрасить фигуры, – ле-

жала раскрытая энциклопедия с выпуклыми буквами*. Ларек консьержа популярностью не пользовался, большинство продаваемых в нем вещей служили для того, чтобы облегчить передвижение; там были зонты, печенье, выдаваемые по медицинской страховке белые трости, радиоприемники, зубные щетки, паста и кое-какая пестро расцвеченная одежда, поскольку считалось, что слепым нравится носить яркие вещи. Институт поддерживался Министерством гигиены и социальной помощи. Он наследовал также средства множества богачей, питавших к слепым особую слабость и жертвовавших средства, чтобы не платить налогов. Институт располагался на границе сельской местности с городом, из-за чего бывали транспортные проблемы, но в целом эти два мира почти никак не соприкасались. Северное крыло со всем своим свинарником смотрело прямо на лес, южное крыло – на перекресток. На уличном фасаде директор повелел высечь приказ следующего содержания: «Посетителям категорически запрещается как-либо демонстрировать свою жалость!»

Прежде всего детей учили жевать и глотать пищу, поскольку они все время ее выплевывали. Учили держать спину и не лезть постоянно в глаза руками. Тех, кто противился, привязывали

---

* Речь о скульптурной группе Жака-Жозефа-Эмиля Бадью де ля Троншера, изображающей слепого нищего Франсуа Лезюера и Валантена Аюи, основавшего в Париже благотворительное заведение для слепых и выпускавшего первые книги с выпуклым шрифтом, который позже усовершенствовал Луи Брайль.

и ждали, пока не успокоятся. Как только у них получалось управлять своим телом должным образом, им рассказывали, чего следует опасаться: потери равновесия, безрассудного поведения, всякого рода рисков. Если ребенок слишком боялся разбить стакан или нечаянно пролить из графина воду, ему объясняли, как следует завязывать шнурки на ботинках и как складывать за столом салфетку.

Слепые дети должны были беречься больше всех остальных: перед ними раскладывали напильники, ножницы и щипчики для ногтей. Опрятный вид для них ничего не значил, зато он служил своего рода оправданием недугу в глазах тех, кто наблюдал со стороны, словно в театре (иногда из города приезжали, чтобы *посмотреть* на слепых, на что не всегда можно было получить разрешение). Возможно, посетителям больше понравилось, если бы они могли различить какие-то особенные отличия – постыдную грязь под ногтями, гнойные потеки на веках, сочащуюся из ушей серу. Но нет: ногти были ухожены, глаза промыты, уши вычищены, пуговицы на одежде в полном комплекте и все застегнуты, сверху красовался воротничок или галстук; только что начавшие расти бороды гладко выбриты, а из строгих причесок не выбивалось ни пряди; единственной навязчивой мыслью было, что на одежде где-то осталось пятно, которое никак не отыщешь на ощупь, слишком маленькое, чтобы почувствовать на ткани шероховатость или какой-то след, который можно сразу же счистить

щеткой. Персоналу, наделенному зрением, вменялось, помимо основных функций, внимательно следить за подобными происшествиями.

Когда Жозетт была маленькой, она постоянно тащила в рот цветы и грибы, прикладывала их к губам, облизывала. Больше всего на свете ей нравилось мягкое, шелковистое, гладкое. Она ревностно относилась к материи, что принадлежала не ей, когда различала тихий шорох и нежный шелест новенькой ткани; мать рядила ее в старые платья. Однажды она услышала такое белое чванливое поскрипывание кружевного воротника, звук ее восхитил, ранил, она с горестью пощупала жалкие серые оборки собственной блузки. Новый воротник опять принялся бахвалиться, она знала, кто сегодня его надел и теперь словно нарочно мнет, порождая роскошные звуки, она ненавидела эту девочку. Рядом стоял флакон с чернилами, она бесшумно его раскрыла и выплеснула в сторону, откуда шел звук, воротник сразу же потемнел.

Когда ему исполнилось двенадцать, Робера отдали под присмотр психофизика Кунца (у большинства преподавателей фамилии были иностранные, поскольку они приезжали из немецких «хаймов» или английских «эсайломов», основанных раньше, нежели Институт). Кунц так же присматривал за летучими мышами, которые плохо ориентировались в пространстве. Он измерил мальчику голову, замотал лоб, ободрал кожу на пальцах и принялся совать ему в руки

то раскаленные, то остывшие лампы. Поставил опыты с эстезиометром и ольфактометром собственного изготовления, однако ребенок не поддавался датчикам, которыми обычно определялась чувствительность кожи, и не воспринимал эманаций, что должны были выделить его среди прочих, зрячих детей, как чемпиона по обонянию. Тогда Кунц зажал ему нос прищепкой, а уши замазал воском. Протер лицо кокаиновым раствором и укутал материей, но так, чтобы это не лишило его всякого восприятия. Затем посадил себе на спину, чтобы он не знал, где находится. Летучие мыши спали. Он принес его на край бездны, оставил с тиграми, но ребенок не обращал на зверей внимания, ему казалось, его завалило снегом. «Когда-нибудь я стану художником – сказал Робер, – или ученым-геометром!» – «Бедный малыш! Что ты знаешь о цвете? – спросил Кунц. – А о перспективе? Ответь мне. А о бесконечности?» – «А еще я когда-нибудь вас прижму!» – ответил Робер. И его отдали другому наставнику – Хохензайну – библиотекарю.

Когда они познакомились, Робер со всей страстью изучал сопротивление материалов при трении, а Жозетт старалась распознавать их при помощи языка. В карманах Робера было полно всяких камушков, шариков, деревянных обломков, бутылочных осколков, он тер их друг о друга или скреб ими на дворе асфальт до тех пор, пока не чувствовал вдруг тепло, тогда он подносил их к носу, чтобы вдохнуть запах гари. Жозетт привыкла к звукам его возни. Неподалеку от уголка, где он копошился, – он был необщительным мальчи-

ком, – она ставила собственные опыты, другого рода, но приблизительно с теми же субстанциями, поднося их ко рту, чтобы почувствовать вкус соли, меди, пыли, стекла, плесени. Ее постанывания отвлекали и, как следствие, сильно его раздражали, так что он бросил в нее самый большой свой камень. Она молча принесла камень обратно. И тогда он почувствовал, какие нежные, тонкие у нее пальцы. Спросил: «Хочешь?» И потер ее кожу любимым кусочком дерева, оставшимся от потерпевшего крушение корабля, так он сказал. «Ах, как приятно! Давай, чтобы было побольше заноз! – сказала она. – Значит, это ты – злюка, который все трет? Нагни-ка голову, я определю, какого цвета у тебя волосы». Он сделал, как она попросила, она высунула язык и попробовала прядку на вкус. «Они черные!» – сказала она. – «Вот и нет, ошибаешься! – воскликнул Робер, которому всегда говорили, что волосы у него черные. – Они светлые, словно пшеница! Ты понимаешь? Как солнышко в сказках!» – «Раз уж ты такой врун, вытащи мне занозы!» Робер отправился за пинцетом из набора для занятий по ботанике и изранил Жозетт все пальцы: «Нашел колючку! – воскликнул он вдруг, поскольку ему надоело, что он ничего не может нащупать в открытых ранах. – Я брошу ее в крапиву!» – «Здесь нет никакой крапивы, – сказала Жозетт, – лучше пососи, чтобы избавиться от бацилл».

Каким же образом эти загадочные дети превратились в столь обыкновенных по виду взрослых?

Ни тот, ни другой ничего не читали. Зато охотно шли в общий зал смотреть телевизор, то есть не смотреть, конечно же, а слушать и представлять, ловить мысли на расстоянии. Институт недавно приобрел видеомагнитофон. Больше всего им нравились фильмы ужасов: назначили специального человека, который каждые выходные отправлялся взять напрокат две-три кассеты у «Видеопирата». Особенно они любили «Самую опасную игру», «Дьяволиц», «Окно во двор», знали наизусть все перипетии и сюжетные линии. Им не было страшно в моменты, когда зрячие бы перепугались, они знать не знали о скользящих по закоулкам жутких тенях и не обращали внимания на острые ножи и нити, которыми прямо под носом у героини душегубу перерезало руки. Однако звуки – правдивые, реалистичные, воспроизведенные столь явственно, как почти не случается в жизни, заставляли их трястись, доводя чуть ли не до безумного хохота – стук от того, что кто-то споткнулся, упал, шорох затачиваемой на натянутом ремне бритвы или грохот разбившегося стекла, посверкивающего только для зрячих. Они решительно презирали чтение, которое – так они говорили – придумано для тех, кто видит, для них же оно превращалось в тяжелый ручной труд, во враждебную, издевательскую, непосильную тайну: большинство слов обозначало предметы, которых они никогда не держали в своих руках.

Черный был для слепых цветом таким же неведомым, как белый или розовый. Никто из слепых не видел никакого мрака, равно как никто из

глухих не слышал никакой тишины, тишины для них не существовало, как не существовало и резких звуков. Слепые вообще ничего не видели. Их жизнь не протекала в потемках, поскольку нервные окончания, с помощью которых о темноте можно составить представление, не действовали.

Преподаватель философии – не из злости, скорее, по тупости – вечно задавал вопросы, так или иначе касающиеся способности видеть: «Можно ли узреть солнечный лик, как и лик смерти?», «Красота скрывается во взгляде смотрящего или в предмете, который он созерцает?» Работы ему сдавали все перепачканные, еле накарябанные, одно предложение могло тянуться лесенкой вдоль всей страницы, пересекаясь с другим, идущим уже в обратном направлении, порой фразы заканчивались уже за пределами листка бумаги. Этот человек, появлявшийся в Институте лишь раз в неделю, был единственным зрячим преподавателем; он просил учеников описать снег или – попросту – белизну, он расспрашивал их о добродетелях нарциссизма, о благотворном воздействии света, о слепоте, в которой душа погребена, словно в склепе. Робер в ответ не писал ни слова, он рисовал на странице заключенное в раму зеркало, в котором отражался опарыш.

Они постоянно сталкивались с ненавистными ломаными линиями, такими же постылыми, как обжигавшие ноздри перечные инъекции, от них сознание проваливалось в какую-то яму; они не

выносили заостренных углов, коловших ладони и предвещавших очередной тяжкий труд взамен того, что только что был закончен; округлые очертания их успокаивали – плечо ребенка, женская грудь – это была поверхность, по которой они могли перемещаться с любой скоростью беспрепятственно, она была такой располагающей, не чинила слепым никаких козней, давала просторный приют и даже как будто оправдывала пережитые ими страдания.

Чтобы попасть в библиотеку Хохензайна, следовало пройти через небольшой тамбур, где он собственноручно начертал на табличке, которую никто не мог прочитать: «Вы не должны ничего видеть и говорить», внутри сотрудники в серых халатах толкали тележки, заваленные пухлыми, гофрированными книгами с внушительным переплетом, словарями, объемы которых умножились в десять раз стараниями Брайля. Хохензайн сидел в стороне, в небольшом бюро информационного зала, расположенном прямо по центру и составленном из перегородок, без всякого потолка, лишь с маленьким порожком, через который ему передавали ежедневную почту, пачки иностранных газет, отчеты проходящих по всему миру почти каждый день конференций, так или иначе касавшихся слепоты, он все это тщательно разбирал, распознавая «слепой» текст с помощью специального устройства, постепенно преображающего напечатанные буквы в выпуклые значки. Ведущая к нему дверца порой оставалась закрытой, Хохензайн был у себя, но больше не отвечал ни на телефонные звонки, ни на испуган-

ный стук сотрудников. Поговаривали, что тогда он перечитывает Паскаля, которого любил больше всех, посвятил ему диссертацию и собирался написать его обстоятельнейшую биографию. На самом же деле Хохензайн повторно использовал почтовую упаковочную бумагу, нарезая ее для новых посылок. Если бы был такой детектив, что следил за ним, пока он ходит туда-сюда, без поводыря и собаки, – от Института к магазину оптики, от магазина оптики к Институту, от Института к центральному почтамту, – детектив этот мог бы со всей уверенностью засвидетельствовать, что клиент его тратит целые состояния на покупку биноклей…

«В запахе молодых людей, – говорила мадемуазель Келлер, дававшая урок обоняния, – есть что-то очень простое, в нем чувствуется огонь, буря, морские волны; а все дети пахнут одинаково, это аромат чистоты, бесхитростности, его на составляющие не разобрать…» Мадемуазель Келлер была старой девой. Она была слепой и глухой, но мало-помалу ей удалось начать говорить тем голосом, который все пытались из нее хоть как-нибудь выдавить, хотя исходил он, казалось бы, ниоткуда, звуча только из желания делать приятное и подчиняться, в то же самое время его как будто и не было, она не знала этого голоса, хриплого, неумелого, звучащего тяжело, мучительно, похожего на машинный гул, однако произносил он вещи в самом деле чудесные. В то время, когда мадемуазель Келлер говорила, ровно так же, когда она замолкала, пальцы ее ощущали беспрестанное покалывание, как если б их

что-то жгло, они подрагивали, дергались, словно ее все время кусали блохи, руки ее жили собственной, отдельной от нее жизнью. На публике, если она знала, что на нее смотрят, она старалась заставить их замолчать, утихомирить, но руки всегда выигрывали, они были такими болтливыми, их переполняло желание говорить, слова лились через край. Так проявлялся словарный запас всех полученных ею знаний – в движениях ее пальцев, речь в нервных окончаниях творилась без остановки, и никакая акупунктура не могла заставить их стихнуть, забыться или хотя бы запутаться. Мадемуазель Келлер выражалась неимоверно пространно, а главное – она все объясняла с помощью образов, – тех самых, которых никогда не видела, и каждую вещь описывала в цвете, каждого человека определяла по запаху или какому-нибудь материалу: учеников она называла «вишенкой», «хмелем», «шерсткой», «леденцом», «опилкой». Она клала им на затылок руку, чтобы понять, говорят они, смеются или же плачут. Она считывала то, что они говорят, тихонько приставив к их горлу большой палец, к губам – указательный, к носу – средний. Точно так же она разбирала музыку, дотрагиваясь до инструмента. Мадемуазель Келлер знала Жозетт и Робера еще детьми, они учились тогда в разных классах: она преподавала, как обычно, объясняя все на языке цветов, и порой даже просила садовников ободрать полсада, заполняя классную комнату зарослями самшита, ворохами сухих листьев и перегноя, она проводила всякого рода сравнительные анализы, оставляя гнить легко портящиеся или иные продукты, и точно так же объектом для изучения был каждый ее ученик: пряди волос и одежда вывешивались

на всеобщее ознакомление, смеяться над наготой было нельзя, дети обнюхивали друг друга, словно маленькие зверьки во время спаривания, они лизались, сосались, кусались, – мадемуазель Келлер не могла этого слышать. Больше всего ей нравилось демонстрировать, как запахи со временем изменяются: когда в ледяной комнате над горячей водой поднимается пар, когда расчесывают лохматую шевелюру и из нее летят мириады крошечных выделений, микроскопические плоды, вызревающие на коже, капельки пота, словно взрывающиеся, когда их смахивают с одежды, такие проворные, когда стекают по телу, взрыхляя растущий на нем еле приметный пушок. Запахи проявлялись, демонстрируя сначала верхние ноты, затем постепенно открывая свою сердцевину. Маслянистые брызги треволнений собирались со взмыленных спин в пипетку, пока тела бил озноб, выделялась сама квинтэссенция, которую заключали в склянки, и порой в особые дни их открывали и обливались, как только могли, наводя повсюду звериный ужас. Ключи от сокровищницы ароматов хранились у мадемуазель Келлер.

(Самой большой тяготой было, что временами она чувствовала ароматы неведомого происхождения, указывавшие на предметы, которых в реальности не существовало, так бывает порой с провидцами, когда среди ночи их будит яркая вспышка света, хотя вокруг сплошная темень).

Добраться до обсерватории можно было по винтовой лестнице; дверь на лестницу, почти все время закрытая, располагалась меж кабинетом дантиста и бельевым складом. А там, наверху,

священнодействовали Крогиус и его ассистент, Бернус: большую часть дня они спали, во время голосований и административных советов их подменяли, доставляли им пищу, различные свитки, карты звездного неба, точные измерительные приборы, которые они выписывали по всему миру. Одна горничная рассказывала: едва поднимешься по лестнице, у самого входа на вращающейся площадке стоят рядышком две кровати, а на вешалках сверху громоздятся сваленные в кучу халаты, костюмы, прикасаться к которым не дозволяется. Об этих костюмах всякое поговаривали, например, что оба ученых по вечерам рядятся в маркизов, пудрят парики, украшая их лентами всевозможных знаков отличий, которые снискали многочисленными открытиями; менее смышленые утверждали, что облачения эти – волшебные и во время равноденствия способны возвращать зрение тем, кто использует его в краткие часы наблюдений с особенной целью. И в самом деле: там были письменные приборы, рядом стоял светильник, а лунные часы без стрелок могли оповещать о грядущих затмениях, пробуждении вулканов и падении метеоритов только зрячих. Бернус помогал Крогиусу с линзами, надевавшимися на особую каску с завязками на затылке, они были невероятно большими и весили почти столько же, сколько огромные астрологические окуляры. Тот становился похож на гигантское насекомое, готовое укусить или отложить личинки. Потом Бернус, сам носивший лишь черные круглые стекла, начинал вертеть колесо лебедки, посредством которой в конической конструкции появлялась узкая щель, похожая на своего рода тромплей, расписанную звездами ленту, и тогда

ее протыкала направленная Крогиусом антенна. Бернус распределял наблюдения по разным тетрадям: главная теория Крогиуса утверждала, что в небе обитают два солнца, они беспрерывно враждуют и перебрасываются тучами, лунными тенями, дождями камней, краткими ночами и долгой полярной тьмой, мчатся прочь и друг друга преследуют, намереваясь погасить противника, чтобы самому оплодотворить астрель. Крогиус неустанно продолжал описывать процесс брани, преследований, уловок и катастроф и заставлял Бернуса выверять, где именно разыгрывались сцены, в которых светила устраивали свои паваны, небо было театром, а падающие звезды – плевками актеров. Крогиус напрочь отрицал существование звездных облаков, шаровых скоплений, туманностей, он утверждал, что все это выдумки и бахвальства астрологов, несущих вздор, чтобы снискать славу, пренебрегая истиной.

Когда выдавались свободные вечера, Жозетт и Робер играли в микадо. Оба пристрастились к этой игре для зрячих, бывшей сложной только для тех, кто совсем не видит. Меж собой они звали ее «резней». Эхо вечернего отбоя разносилось по коридорам без четверти десять, за исключением субботы, когда отбоя не было вовсе, даже в двенадцать. Они запирались в своей комнатушке и полностью раздевались. Затем вытягивались на половике, Робер сжимал в руке палочки, решая, когда их бросить, а Жозетт вслушивалась в еле различимые удары маленьких деревяшек, стараясь понять, где легли те, что вывалились

из общей кучи. Дабы подсчитать баллы, цветные отметины для них не годились, поэтому они сделали засечки, чтобы различать палочки меж собой. Три треугольных засечки означали Короля, приносившего десять очков. Две засечки были у Королевы, и за ней значилось восемь очков, у Рыцаря имелась всего одна засечка, что означало лишь шесть очков. Придворные, помеченные единственной круглой засечкой, обладали пятью очками. А все остальные – без опознавательных знаков – давали по одному очку. Жозетт действовала благоразумно: она пыталась вначале собрать те палочки, что упали подальше от горки, среди них вполне мог оказаться Король, правда, Робер, – который прекрасно знал все засечки, поскольку нанес их сам, – сжимая палочки перед броском, ловкими движениями делал так, чтобы самые зазубренные перекатывались ближе к центру и затем неизбежно падали вместе, обычно доставаясь ему. Жозетт проигрывала. Победителю полагалась награда. Первые семь лет, когда они соревновались в игре, это означало, что проигравший должен выигранными палочками колоть победителя в тех местах, где ему заблагорассудится. Как правило далее следовали объятия.

В Институте царил неизбежный кругооборот: слепые ученики становились слепыми преподавателями, лентяи превращались в технических служащих, лентяйки оказывались в столовых. О топографии заведения постоянно шутили, слепые оставались там в течение всей жизни и со смехом воспринимали переход из детства во взрослый мир, для чего требовалось лишь пере-

сечь коридор. Малыши в северных зданиях мерзли, и кости у них уже начинали болеть, когда они перебирались на юг к взрослым. Крыло, где жили дети, звалось Северным полюсом, предназначенное же для взрослых – Тропиками. В мир зрячих многие выбирались в конце жизни, лишь некоторые оставались здесь до преклонного возраста, поскольку Институт старался от стариков избавляться, их отправляли в обычные богадельни. Большинство слепых боялось этого запоздалого отбытия в мир зрячих, который с ужасом называли Раем.

Как бывало каждое утро, зашел Кипа. Он приносил и забирал почту. Жозетт переписывалась с матерью, которая жила за городом. Кипа жил не в Институте, а в городе у родителей, те держали писчебумажную лавку. Они не признавали, что Кипа слепой, не желали произносить это слово. Когда он родился, они не в силах были принять, что на сочившихся влагой глазах у него поволока, белесые пятна то исчезали, то появлялись, затем словно бы затвердели. Они не обращали внимания, что он шарит по комнатам, падает: ведь ребенок всегда улыбался. Очень скоро они решили: он улыбается красоте мира. Когда они водили его на прогулку, они беспрестанно спрашивали: «Видишь, как это красиво?» И Кипа с изумлением отвечал: «О, да! Да!» Показывая, ему говорили, как что называется – жираф в зоопарке, церковь, подъемный кран – чаще всего это были вещи громоздкие, к которым нет возможности прикоснуться. Он в тайне самостоятельно разработал целую систему распознавания, запоминая при-

меты – разные запахи, звуки, тихую дрожь, эхо. Он не хотел ошибаться, не хотел лгать. Однажды родители, чтобы не ходить к специалисту, разыграли целый спектакль, притворившись страшно обеспокоенными, они умоляли Кипу развеять их опасения и просили описать, как они выглядят. И Кипа не только описал мелкие детали, которые его пальцы уже давно различили на ощупь, – бородавку с волосками на щеке матери, седеющую отцову бороду, – но сразу же взял листок бумаги, чтобы нарисовать их портреты. Сговорившись, родители согласились, что поразительно не похожие портреты отображают реальность с невероятной точностью. Никаких подозрений более не высказывалось. Однако во время прогулок родители Кипы инстинктивно заботились, чтобы обойти Институт стороной, хотя тот находился неподалеку от дома. Чем дольше они его избегали, тем сильнее Кипа подозревал, что на представляемой им карте местности, которую он вычерчивал в мыслях и проверял каждодневно, присутствует рядом что-то особенное, какая-то опасность или же чудо, запретная зона или зона свободы, нечто неведомое, незнакомое и невыносимо пленительное. Когда ему исполнилось столько лет, что он уже мог беспрепятственно бродить один по округе, давая соседям возможность утвердиться в их подозрениях и пожалеть, что его с самого начала не закрыли в подвале, Кипа ежедневно ходил к Институту. В первый раз, когда он оказался поблизости, тайна встала пред ним подобно крепости. Подняв голову, он понял, что находится возле высокой стены, поскольку воздух там был почти неподвижен, он узрел внутренним своим взором каменное сооружение с

башенками, высокими трубами, из которых шел дым, полощущимися на ветру флагами – была ли это тюрьма, военное укрепление, крематорий? В то же время до него доносился шум музыки, из окон слышался девичий смех, и он подумал, не очутился ли перед тем, что называл про себя «дворцом удовольствий». Он несколько раз его обошел, потом, осмелев, потрогал стену и пообещал себе вернуться как-нибудь ночью, чтобы попытаться определить, сколько там отверстий; быть может, внутрь удастся попасть лишь подземным путем. Внезапно открылась дверь: кто-то бранил его мерзким голосом, он убежал. Он замыслил составить как можно точный план этого заведения, нарисовать в уме со временем все, вплоть до последней водосточной трубы, ведь доставляли же туда как-то пищу, он все еще слышал звуки игры фортепьяно, должно быть, там танцевали, лакомились разными яствами, обнимали девушек. Слыша еще порой доносившийся из дворца смех, – пусть издали, пусть приглушенно, – он все больше влюблялся. Но как же туда пробраться? Он был заинтригован: вверху на лестницах и вдоль ограды постоянно бряцали какие-то палочки. Однажды, когда он караулил, грезя наяву у главного входа, откуда его больше не прогоняли, Кипа не заметил, как кто-то подошел и вдруг хлестнул его по лицу снопом душистых волос, от которых, словно в деревне, повеяло свежестью и теплом, каким-то смоляным ароматом, и сразу же этот кто-то пропал, смеясь и постукивая пресловутой палочкой. Кипа умчался прочь. В писчебумажной лавке ему поручали пересчитывать и распаковывать стопки и прибираться в складском помещении. А в Институте, в тайне от родителей,

ему удалось устроиться помощником почтальона и – по случаю – городским гидом. Он сразу же признал своих, но никогда об этом не говорил: понимал, что если все раскроется, его сюда позовут и примчатся родители, чтобы забрать его из эдема. В то же самое время, хотя он и выдавал себя за ясновидящего, способного выполнять любые задачи, слепые приняли его как подобного и считали своим счастливым талисманом. Существуют особенные черты, на которые зрячие не обращают внимания, слепые же их распознают и совершенствуют: в голосе Кипы естественным образом звучали чарующие модуляции, что у зрячих никогда не встречаются, в нем слышался нежный шелест, интонации его не были ни властными, ни вялыми, они проникали в самую душу. Работая гидом, он описывал вещи, которые сам не видел: на дорогах свободных и ровных он обещал трудности и подвохи, из-за чего идти следовало помедленнее; когда помехи вдруг возникали на самом деле, он бросался вперед; он описывал сооружения, построить которые не осмелился бы ни один архитектор. Например, он как-то решил, что на пути есть полицейский участок, где также продают хлеб, по форме здание это напоминает гигантский башмак; пустые площади он обходил, чтобы не попасться жандармам. Он считал, что звери из зоопарка разгуливают по городу на свободе: следовало беспрестанно быть начеку, чтобы не столкнуться со львами и обезьянами. Институт предоставлял ему велосипеды на двух или трех человек, чтобы Кипа мог вывозить на прогулку своих подопечных: Кипа, конечно же, садился за руль и врезался на тандеме в первый попавшийся столб или падал вместе со спутни-

ками на первой колдобине. Он заклинал их, массировал им ушибленные места, обещая компенсацию, и таскал из писчебумажной лавки точилки для карандашей и ластики, если же удар был слишком болезненным – приносил пенал. Никогда нельзя было положиться на такого прохвоста, но все его обожали. Он относил письма Жозетт на почту, а возвращался оттуда с посланиями от матери. Она просила читать их погромче: Кипе приходилось выдумывать всякие происшествия, легкие недомогания, также он не должен был забывать, что нельзя отклоняться от монотонного провинциального стиля и пользовался одними и теми же фразами для выражения материнских чувств. Большим затруднением оказалось, что он не мог читать письма, которые вручала ему Жозетт, поэтому отвечать на них было сложно, но он выкручивался, подмечая за разговором, что именно Жозетт хотела узнать от матери, чем она недовольна, и использовал это во время следующей их встречи.

В ранней юности Жозетт и Робер должны были ходить на занятия музыкой. Роберу не нравились уроки гармонии, он не хотел становиться профессиональным музыкантом и не понимал, почему должен подвергаться таким мучениям. В первый же раз, когда его заставили притронуться к фортепьяно, он принялся его разбирать. Входя в музыкальный класс, постукивая тростью, он поворачивался лицом к стене. Преподаватель, слышавший, что дверь отворилась, брал его за плечи, чтоб распознать: у него имелась собственная система распознавания учеников по подвздош-

ным костям – те всегда различались, во всяком случае, у мятежников, не желавших называться по имени. Преподаватель разворачивал его, подводил к фортепьяно и, положив руку ученику на голову, вынуждал сесть. Робер обладал настоящим даром запоминать музыку – достаточно ему было один раз пробежать левой рукой по выступающим знакам на партитуре то, что должна играть рука правая, воспроизвести это, а затем пробежать правой рукой по партии руки левой, – он сразу же мог все это соединить и сохранить в памяти, разбив на короткие фрагменты из четырех-пяти тактов. Но он был строптивым – терял рифленые листы партитуры, совал их под старый розоватого шелка чехол инструмента, обрабатывал на свой лад ошибки, забытые фрагменты, те проигрыши, когда немели вдруг пальцы или уставала вся кисть. «Я никогда не стану пианистом, – заявлял он, – это слишком тупые звуки, лучше уж тогда скрипачом, но я предпочитаю не быть никем». Правда, однажды, когда группа отправилась в город, он услышал, как нищий играет на музыкальной пиле, он был поражен стенаниями, исходившими, как ему казалось, вовсе не от инструмента, а от пойманного зверя, какой-то сирены, монстра. Он попросил, чтобы ему описали, как выглядит эта штука, и попросту расхохотался, когда ему объяснили, что речь о пиле, которую так и сяк выгибают, водя по ней смычком. Целую неделю он пытался это себе представить и чего только не выдумывал: пилы гигантские и совсем крохотные, закрученные по спирали, злющие пилы, перепилившие множество неверных жен и так и оставшиеся в потеках крови, а еще такие пилы, которые окунали в расплавлен-

ное золото или накаливали, дабы придать нужную форму, над пылающей лавой вулкана, и слух его различал томящее звучание инструмента уже беспрестанно. Когда настал очередной день для прогулки, он провел его в поисках магазина, где ему могли показать какую-нибудь пилу и позволили на ней поиграть. Оказалось, что у пилы имеется кожаная ручка, с помощью которой инструмент можно по-всякому изгибать, выделывая невероятные кульбиты и извлекая множество разных звуков; а на конце у пилы есть небольшой закругленный упор, как у контрабаса, позволяющий расположить ее поудобнее и играть и сидя, и стоя. Смычок у нее такой же, какой полагается скрипке, с разницей лишь, что волос натянут гораздо сильнее, дабы не порваться при соприкосновении с зубьями. Все это почти ничего не стоило, можно было чуть ли не самому сделать такой инструмент, главной проблемой оказалось, что почти никто из композиторов им не интересовался и не существовало для него никаких нот, во всяком случае, в том магазине. Он купил пилу и спрятал ее под кроватью. Если бы преподаватель музыки узнал о ней, он мог бы ее поломать, поэтому Робер каждую неделю давал монетку уборщице, чтобы она со своей щеткой обходила тайник стороной. Он играл на пиле потихоньку, никогда при этом не уставая, сочинил множество концертов, квартетов, штук десять симфоний, которые нарочно, конечно же, не записывал. Он мечтал о целом оркестре слепых, музицирующих на пилах.

«Для девочек у меня есть булавки!» – сказала Жозетт. Из четырех мышей она выбрала свою любимицу, самую маленькую и пронырливую. Она сжала ее в руке, подняв повыше к лицу, мышь дергалась, словно боясь утонуть в молочном озерце, украшенном по краям аквамаринами. Жозетт думала, что держит одну из двух самок, тогда как это был самый отважный во всей группе самец. Из игры в палочки она взяла Королеву и потихоньку воткнула острый конец в левый глаз мыши, которая принялась верещать, разбрасывая брызги, царапаться и бить хвостом, сколько хватало сил, затем замерла. «Вот ты у меня и заговорила! – сказала Жозетт, у которой лицо было забрызгано множеством капелек крови. – Погоди, ты еще запоешь! Ты у меня станешь самой ласковой, самой умной! Сейчас выколю тебе второй, и тогда превратишься ты в Королеву! Тебя будут звать Жозетт, как и меня, тебе нравится это имя?» Но бедная мышь не двигалась, только подергивались еще лапки. «В награду дам тебе коробку от „Веселой буренки“*, – продолжала Жозетт, – но прежде надо выколоть второй глазик!» Открыв пузырек с эфиром, она поднесла его к мышиной мордочке, затем быстро закрыла, побоявшись зверька прикончить, потом медленно принялась втыкать иголку в глаз правый. Жозетт действовала решительно, бормоча словно песенку: «Белла, белла, красавица моя, теперь ты неотразима, маленькая Жозетт, должно быть, с виду не очень, да кто же увидит, потом я тебя протру духами, ты все поймешь, сразу тебе полегчает, станешь моей служанкой, моей моделькой, во всем будешь как

* Знаменитая марка плавленого сыра.

я, всем Жозеттам Жозетт, я буду носить тебя постоянно с собой, ты превратишься в Королеву, начнешь заправлять остальными, я спрячу тебя в одежде, никогда тебя больше не брошу!»

Они привыкли ко всяким моделям, это было еще одной возможностью познавать мир. Чтобы ориентироваться в пространстве, возле каждого помещения располагался маленький деревянный макет, воспроизводивший всю комнату в меньшем масштабе, они водили по нему пальцами, проверяя, нет ли внутри предательских подвохов или неровностей; после уроков истории у них появились навязчивые идеи: стало казаться, что повсюду средневековые каменные мешки, ублиеты, ловушки, хотя, разумеется, это было последним, о чем могли думать архитекторы-филантропы, возводившие здание Института. Те даже предусмотрели на высоте руки вдоль всех стен нескончаемые перила, на которых значками Брайля были нанесены надписи, предупреждавшие о ступеньках, о том, где именно поблизости находятся скамейки для отдыха, прикрепленные к полу, который никогда не вощили, чтобы не было скользко. В начале лестниц крепились штырями к стене их миниатюрные копии, по которым, прежде, чем подниматься, водили пальцами, запоминавшими не только количество ступенек, но каждый угол, каждый изгиб, каждую непривычную деталь каменной кладки.

«Чего ты тут натворила? – спросил Робер, войдя в комнату. – Это что, кровь?! Ты кого-то прирезала что ли? Так не воняло даже, когда помер

отец!» Жозетт положила мышь обратно в коробку вместе с другими. Она не хотела говорить Роберу о том, что натворила: «Надо просто проветрить». – «Проветри сама», – ответил Робер. Он устремился к комбинезону мотоциклиста проверить, на том ли он месте и – главное – не пострадал ли при бойне. «Мышь у тебя, что ли, сдохла?» – спросил Робер. – «Нет. Нет, они все тут, можешь проверить». Окно все еще не было открыто, и Робер, сам того не понимая, хмелел в облаке застывшего в воздухе эфира. «Пожалуй, надену его в этот раз, надо же примерить комбинезон, после магазина еще ни разу не пробовал, заодно и тебе покажу». Но Жозетт спокойно сказала: «Ты будешь смешон. Не хочу, чтоб над тобой потешались». Надо было накинуться на нее, дабы силой вырвать признание о страшном злодеянии, которое она совершила, но он занялся комбинезоном и, сняв привычную одежду, надел его. Молния еще не была застегнута до конца, а прикосновение мягкой, слегка ворсистой с изнанки кожи его уже возбудило. Губы разжались помимо воли: «Иди, отсоси у меня, грязная шлюха!» В мыслях у него не было никакой картинки, член встал только потому, что сделалось жарко и он чувствовал касание этой материи, а в памяти всплыли несколько грубых слов, которые он случайно подхватил, когда праздно шатался по кварталам с дурной славой или смотрел порнофильмы. Жозетт влепила ему пощечину: «Не смей так со мной обращаться! Если я слепая, это еще не значит, что у тебя есть право говорить мне такие слова, словно я какое-нибудь ничтожество! Можешь поверить, возле ящика с песком у тебя получалось гораздо лучше!» Робер снял комбинезон и больше к нему не притрагивался.

Ящик с песком стоял в кабинете географии. Он был единственным во всем заведении, хотя соорудить такой не представляло особых сложностей. Возле него они часто встречались с тех пор, как познакомились и стали обмениваться камушками, осколками стекла и кусочками дерева, которые он тер и нагревал, а она пробовала на вкус языком; марками, не представлявшими для них никакого образовательного интереса, обмениваться было нельзя. В географическом классе стояли усеянные точками черные глобусы и висели рельефные карты. Обилие мелких деталей, равно как и их нехватка, делали подобные вещи никчемными. Общества аэронавигации изготавливали в благотворительных целях огромные планисферы, с помощью которых слепые ученики не могли почерпнуть никаких особенных знаний, их оставляли висеть тут для украшения. Невозможно было изобразить русла рек впалыми, их делали выпуклыми, впечатывая в карты кусочки проволоки. Все это оказывалось слишком громоздким: новая технология горячей штамповки позволяла делать множество копий, но привыкшим к картону ученикам не нравилось прикасаться к пластику, из которого делались подобные карты. Более поучительным оставался привычный ящик с песком: пока все дети, возводя ярус за ярусом, строили ацтекские пирамиды, преподаватель подводил одного из них к ящику с песком, поверхность которого смачивал, и рисовал очертания какой-нибудь страны, полушария, затем давал ребенку провести по рисунку рукой, изучить его и запомнить, потом все стирал и просил ребенка нарисовать заново. Когда уроки заканчивались, Жозетт и Робер встреча-

лись у этого ящика: они рисовали по очереди, и каждый думал, что выводит очертания какой-нибудь части тела, другой должен был распознать рисунок рукой, и эта первая ласка, с самим телом никак не связанная, словно давала право потом дотронуться до изображенного на песке места, пощупав его сквозь или под одеждой. Сначала рисовали совсем простое. Потом, с годами, изучение друг друга стало более изощренным, на песке появились абстрактные картины пиршеств и оргий, выглядевшие, как набор геометрических фигур, которые потом сразу же исчезали.

Они ничего не видели, никаких зрительных образов и фантазий не было. Они могли испытывать сильное желание почувствовать жар или прикоснуться к чему-то особенному – к ткани, коже, каким-то предметам, формы которых неизменно связывались с тем, холодные они или теплые. Ощупываемый предмет, который они старались представить в уме, мог казаться совсем иным, нежели говорили о нем очертания: он мог стать символом, подобным тем, какие встречаются в языке глухих. Если бы можно было сличить представления об одних и тех же предметах у слепых и зрячих, они бы вряд ли совпали, крошечное потерялось бы в массе большого, гигантское раздавило бы собственное миниатюрное подобие, прекрасное стало бы ужасающим. Если память держалась в пальцах, на поверхности кожи, то голова порой превращалась в пустой котел без мыслей, без грез. Тогда им требовалось почувствовать, поверить в то, что сами они тоже

есть, они существуют и занимают в этом мире определенное место. Они не могли просто так потереть глаза, зажмуриться, различить вдруг мерцание света, а потом, раскрыв их, окинуть взглядом линию горизонта. Для них перспектива не могла сходиться в какой-то определенной точке. И порнографические картинки, пусть даже описанные зрячим, не имели смысла: тела в их воображении не помещались на узенькой сцене, они сразу же уносились в бездну или воспаряли в невесомом пространстве, тела эти не могли быть вместе и – тем более – никак не могли спариваться, поскольку тоже не имели границ. Если воображение останавливалось на округлом и теплом плече или груди, позабытые в этот миг ноги словно бы пользовались случаем и потихоньку росли, искривлялись, превращаясь в ножищи хромого великана; если же воображение ласкало живот, спина решала воспламениться или оледенеть. Вещей простых не существовало, анфас и профиль не соединялись в одно и то же лицо, а лицо не особо отличалось от звериной морды или мебельного косяка, нос от угла дома; доступная плоть вполне походила на пищу, которой можно насытиться.

Самым тяжким предметом со времен основания Института был катехизис. Доходило до того, что священники после занятий теряли веру, поскольку детей при чтении евангельских историй обуревал несусветный ужас. Они вопили, рыдали, пытались сбежать, словно класс горел синим пламенем, священник был вынужден перед началом занятий вешать на дверь замок, уроки всегда

проходили в классе без окон. Самым немыслимым, самым жутким для детей было представить распятого человека. Они не испытывали подобного ужаса, даже когда на уроках естествознания ощущали, как дергаются в агонии лапки лягушек.

С тех пор, как ему выкололи глаза, мышиный самец постоянно лез к самочкам. Однажды утром Жозетт опустила руку в коробку и почувствовала там много дрожащих, теплых и влажных, как вареная свекла, комочков. На самом деле, они и по цвету на нее смахивали. Увеличение числа мышей показалось Жозетт математической задачей, она попыталась ее сформулировать: если за неделю из четырех мышей получается шестнадцать, сколько будет их через год?

Кипа зашел за Робером. Как всегда, без особой цели, просто им нравилось болтаться по городу. При беглом взгляде невозможно было сказать, кто тут кого ведет. Кипа думал, что двигается проворнее, однако из вежливости положил руку на плечо Робера, как если бы тот вел его. А не подозревавший об уловке Робер думал, что зрячий его приятель невероятно любезен, к тому же, если рассудить здраво, то это взрослый обязан вести ребенка по жизни. Он не боялся вот так прогуливаться – знал, что Кипа предупредит о препятствиях на пути. На самом же деле все препятствия при их приближении устранялись сами собой, столбы опускались под землю или, если не успевали, становились мягкими, пробоины в ас-

фальте на несколько мгновений выравнивались. Быть может, иногда парили они над землей, быть может, вывихивали лодыжки, хватая один другого, беспрестанно вытаскивая друг друга из ям. Они бродили повсюду. Но были у них и свои привычки, свои утехи: Роберу нравилось, когда Кипа приводил его к витрине кондитерской и описывал пирожные. Ему никогда не хотелось их попробовать, но нравилось слушать, как по-особенному может похрустывать сахар, шелестеть сладкая пудра, когда Кипа все это описывал по его просьбе, становясь на время подмастерьем булочника, чтобы придумывать новые оттенки сливочного мороженого и изобретать для того причудливые формочки – не в виде обычных рогаликов и корон, но дымовых труб, индейских курительных трубок, драконьих морд – всевозможных вещиц, откуда лакомство брызжет с едва заметным дымком, как из баллончика со взбитыми сливками. После остановки возле кондитерской они пересекали улицу, чтобы подойти к выставленным снаружи лоткам букиниста. Они никогда не покупали там книг, но обожали их трогать и шелестеть листами, тогда появлялся чуть терпкий, особый запах лежалой бумаги, пропитанной краской.

Однажды в Институт явился фотограф: освещение внутри было скудное, поэтому учеников попросили выйти во двор. Часть девочек расставили вокруг клавесина, который по такому случаю вытащили наружу, другая часть занялась шитьем. Мальчикам, все еще носившим форму со стоячим воротником и серебряными пугови-

цами, дали в руки различные предметы, взятые со склада кабинета естествознания, – это были модель дома, модель поезда, фигурка лошади, фигурка слона, пучок колосьев, модель корабля, клешня краба, ветвь дерева, – каждый, повернувшись в указанном направлении, держал предмет, отличный от остальных. Фотосъемка их не пугала: они не понимали, в чем суть процесса, думая, что все это игра, шутка. Соли серебра, фотографическая пластина, диафрагмы? Как какое-то устройство могло что-то увидеть, если их собственные глаза не видели ничего? Не лучше ли было имплантировать такие штуки им вместо глаз? Может, им самим стать фотографами? Их предупредили, что фотоаппарат не брызгается, словно душ, не жжется и вообще к ним даже не притронется. Но кому же предназначаются фотографии? Кому это будет дозволено их разглядывать – их, которые даже себя-то увидеть не в силах? Кому, если не полиции? «Должно быть, этот аппарат чем-то похож на зеркало», – думал Робер. Его к зеркалам все время тянуло, он был уверен, что голова у него изнутри покрыта светящимися осколками, средь которых, словно в тайной пещере, до бесконечности множатся отражения темного озера; он все время таскал с собой миниатюрное зеркальце, пряча его в кармане и время от времени поглаживая холодную, гладкую поверхность. Он пытался различить, где находится это устройство, желая удостовериться, что в нем нет никакого подвоха, который мог бы чем-то грозить ему или его товарищам, он вертел в разные стороны головой, чтобы постепенно сложить весь пазл. Однако очень скоро его одер-

нул фотограф, прокричавший, чтобы он не двигался, не гримасничал и стоял прямо, иначе все смажется. Робер сразу же присмирел, сжав в руках выданную ему ветку дерева, и взгляд его, различавший лишь крохотное размытое пятнышко, безвольно остановился на сероватой материи, облегающей плечо одетого в форму приятеля, стоявшего впереди.

Показывать диапозитивы, демонстрируя что-либо наглядно, было бессмысленно, поэтому преподаватель естествознания заказал гипсовые муляжи, масштабы которых порой значительно превосходили оригинал: за стеклом хранились гигантский слепок коренного зуба, изображение мохнатого паука, слепки человеческого мозга, обезьяньей челюсти, передней части солитера, модели уха и глаза, набитое соломой змеиное чучело, птичьи крылья, щупальца осьминога и позвонки. Доисторическим животным отвели особое место: в отличие от уже упомянутых предметов, масштабы которых были увеличены, диплодока и археоптерикса сделали совсем маленькими, они больше напоминали игрушки. Таким образом какой-нибудь цветок или муха в сознании слепых становились в тысячу раз опаснее и страшнее, нежели самое омерзительное чудовище. Ходил слух, что кто-то из преподавательского состава болтал, будто в учреждение наведывается порой один изувер, которому нравится лапать детей и гоняться за ними по коридорам, грозя вышеперечисленными экспонатами. Все называли его Йети, но, поскольку твердили о нем на

протяжении четырех поколений, вполне возможно – и доверчивые умы в том, казалось, убеждены, – что этот снежный или пещерный человек был только легендой.

В декабре 19… года я стал работать в Институте чтецом. Мне нравились его темные коридоры. Я составил список трудов, которые собирался прочесть – демонстративный и лживый перечень, чтобы завлечь и прельстить дирекцию, – но существовал и другой перечень, который нельзя было, сложив, спрятать в карман, поскольку записать его на бумаге не представлялось возможности, я не решался признаться в таком самому себе, едва представлял его целиком, мне было даже страшно о нем помыслить, столь издевательски пренебрегая законами нравственности и милосердия. Но у меня не было цели совратить детские души. Я был красив, а то, что меня при этом не могли видеть, представлялось одной из вершин наслаждения. Я ходил в Институт по понедельникам, занимался с пяти тридцати до семи. Эти уроки я никогда не пропускал и никогда не опаздывал. До станции «Д.», где находится Институт, мне на метро по прямой, это всего четыре остановки от дома, я прятал в портфеле одну книжку, которую все еще никак не осмеливался достать. Вначале я шел в ближайшее кафе, чтобы выпить побольше жидкости, поскольку от непрерывного чтения в полный голос в течение полутора часов рот настолько пересыхает, что лицо порой может свести судорога, это было бы не так важно, если бы не срывался вдруг голос, выдавая подлинное душевное смятение. В палатке охранника мне сле-

довало заполнить формуляр, указав свою фамилию, адрес и номер телефона, а также фамилии двух слепых слушателей, волей случая звали их довольно смешно. Вначале я сетовал, что слепыми они были не с рождения, а потеряли зрение лишь четыре года назад, поэтому казалось, что их провести сложнее. Поддельный мой список они забраковали, выразив желание, чтобы я читал им статьи из газет, хотя сам я газет не читал, однако так у меня появлялась возможность, раскрыв шуршащую газету, читать другой, заранее мною приготовленный пакостный текст, переписанный от руки на отдельный лист или же наклеенный прямо на газетную страницу. При том не было речи о непристойности, задумка моя была куда больше. (Всегда есть определенная выгода в том, когда при знакомстве сразу на себя наговариваешь: мгновенно возникшую неприязнь со временем, при последующих встречах, всегда сменяет симпатия. Так, если говорящий – я мог это проверить на собственном опыте – выступает вперед, сообщая: «Вы даже не можете себе представить, какой я грубый, жестокий, корыстный, коварный!» – сразу же возникает благостное предположение, что все как раз наоборот.) Я заметил, что моим подопечным слепым, – протягивавшим мне, как только я появлялся, газетные вырезки, приготовленные родителями или учителями, – нравятся лишь кошмары, в деталях описывающие пытки, мучения, бедствия, изнасилования, пагубные происшествия, убийства, занятия проституцией и смертоносные эпидемии. Я со своей стороны отважился выступить с кое-какими любимыми мною текстами. Но все от них засыпали. И сам я заметил, пока читал, что обожаемые,

перечитываемые мною с неизменным восторгом тексты вдруг рассыпались, когда слушали их слепые – таково было последнее испытание текстов на стойкость. Решив сменить тактику, теперь я нарочно осушал рот крупной солью, чтобы процесс чтения стал мучительным. Я грыз ее в коридоре перед началом чтения, тогда казалось, светильники, тускнеющие за стеклами, начинали меркнуть. В самом конце, в ведущем на кухню дверном проеме под лампой стоял любезно приветствовавший меня карлик в алом пуловере. Дальше я поднимался по лестнице в полумрак. Я приезжал специально пораньше и вставал у двери напротив входа в аудиторию, где должен был проводить занятие: там все это время был *он* – он сидел на привычном месте, склонившись над столом с перфоратором, повернувшись ко мне, не зная того, левым профилем, с широко раскрытыми светлыми глазами, словно подведенными тушью; я наблюдал за тем, как меняется раз от раза его одежда. Застекленная дверь вся была составлена из прозрачных квадратов, я делал несколько шагов, чтобы лишь он оставался в центре внимания, заключенный, будто картина, в своего рода раму, отделявшую его от теснившихся рядом товарищей, я прислушивался к звуку шагов, чтобы меня вдруг не застали врасплох. Он читал по буквам, подняв голову, улыбаясь. Время от времени я оборачивался, проверяя, что никто меня там не видит, когда же в очередной раз на него глянул, он стоял в сонной позе, опершись всем телом на аппарат. Я вновь не сводил со стеклянной двери взгляда и различил, что весь класс застыл в схожих позах, будто поддавшись неведомым чарам. Потом вдруг все они одновременно

вскочили и, подняв головы, захохотали: это была какая-то игра, поди угадай какая. Я читал с выразительными интонациями, воодушевленно, и видел, что у сидящего напротив ученика веки медленно опускаются, пряча размытый взгляд, затем он начинал тереть лицо, чтобы очнуться, мечтая умыться прохладной водой.

В один из понедельников охранник вручил мне конверт с моим именем: на белом клочке бумаги была выведена одна лишь фраза: «Будьте бдительны».

Комната Жозетт и Робера была небольшой, но довольно уютной. На двери значился номер, составленный из выпуклых знаков: 114 Б. Робер снял распятие, повешенное, как и в других комнатах, еще при основании учреждения, но уже позабыл, где его спрятал, поскольку выбросить побоялся. Кровати они приставили одна к другой, на стенах повесили – прежде всего, чтобы скрыть трещину, – постеры, на которых, как сказал им торговец, изображены Дэвид Боуи, Мик Джаггер и Мэрилин Монро, но на самом деле это была всякая дребедень, которую торговцу никак не удавалось сбыть с рук: изображения лошади с жеребятами, швейцарского шале на берегу озера, экипажа, башенных часов и шимпанзе. Еще там были шкаф из акажу, у которого с дверцы предусмотрительно сняли зеркало, обитое красным плюшем кресло, стол с шестиклавишной пишущей машинкой Брайля, обязательно полагавшейся на случай инспекции, хотя ею никогда не пользовались. Они заказали в городе, в большом магазине, штук двадцать кафельных плиток, что-

бы украсить кухонный уголок, где находились газовая плита, укрытый от мух тюлем шкафчик и крепившийся к стене откидной деревянный столик со складной ножкой, у которой на конце имелась специальная присоска, плотно прилегавшая к полу, что позволяло спокойно на этом столе готовить и принимать пищу, расположившись с двух сторон на табуретках. У широкой, глубокой раковины они по утрам умывались. Раз в неделю спускались вместе в подвал к душевым кабинам, чтобы помыться. За окном, придерживаемые железными прутьями, стояли три горшка с геранями, которые Жозетт, как ей казалось, поливала довольно часто. Правда, украшать фасад цветами здесь запрещалось, но никто до сей поры их будто не замечал и убрать не требовал. Со дня фиаско Робера чудесный синий с красным комбинезон мотоциклиста висел в стороне на специальной вешалке, тоже отделанной кожей. Продырявленный, словно дуршлаг, пластиковый мышиный ящик путешествовал меж раковиной и кроватью Жозетт, под которую его порой убирали. На месте глаз у Второй Жозетт остались небольшие рубцы. Однажды вечером Робер, воспользовавшись отсутствием Жозетт, выпустил мышей погулять, где им заблагорассудится, их было уже двадцать семь. Почти все сразу же помчались прятаться за шкафом.

Жозетт, в отличие от Робера, музыка полюбилась с первых занятий, особенно ей нравились струнные. После начального курса сольфеджио и гармонии ей посоветовали учиться игре на скрипке. Было очевидно, что у нее дар, но дар

слишком особенный, чтобы поощрять его и в дальнейшем: например, она не жаловала смычок, ей казалось, что это отполированная берцовая кость с натянутыми волосами болящей женщины, поэтому Жозетт вся покрывалась мурашками; однако она могла совершенно спокойно касаться струн, могла их гладить и перебирать без устали, часы напролет; звучавшая тогда музыка, порой казавшаяся другим монотонной, ее очаровывала. Однажды она сказала: «Я хочу такую скрипку, что была бы размером с человека или даже больше!» Ей притащили контрабас, но она сочла, что он звучит по-мужски, грубо. Она начала придумывать, а потом рисовать такой струнный инструмент, который мог бы быть в ее представлении идеальным – это оказалось доподлинное чудовище, китовый остов, где меж дуг тянулось невероятное количество струн разнообразной толщины и длины, сосчитать или обозначить их, казалось, не представлялось никакой возможности, зато хотелось импровизировать, едва касаясь ногтями, сочиняя бесконечное число разных мелодий. Мечта Жозетт была отображена на ворсистой ткани устройства для рисования. Увидев изобретение, учитель музыки заявил, что все это не просто выдумка, такие – или приблизительно такие – инструменты существуют на самом деле, и один из них, вероятно несколько поврежденный, стоит в подвале, оставили его там давным-давно, с тех пор уже было три выпуска, но его, конечно же, можно отдать настройщику. Арфа хранилась в большом чехле того же розового шелка, каким было укрыто фортепьяно. Сохранились инкрустация, позолота, и всего несколько удерживаемых массивными перламутровыми колка-

ми струн порвалось или ослабло. Громоздкую эту штуковину препоручили заботам Жозетт, – почти подарили, – она была словно какой-то простушкой, обретшей вдруг никому не нужную и требующую хлопот древность, от которой хотели избавиться, сохраняя при том здравый рассудок и приглядывая на случай, если вдруг эта никчемная вещь обретет былой смысл и изящество. И даже освободили для нее, чтобы защитить от крыс, один из шкафов в дальнем подвале среди запасов газированной воды и чистящих средств, и сделали ключ, который Жозетт носила сначала на шнурке у груди, а позже, когда они съехались с Робером, убрала в ящик шкафа в их комнате. Вместе они составили заунывный и мрачный оркестрик, в котором исполняли избранные сочинения для пилы и арфы, написанные, как они утверждали, Шуманом и Сметаной, на самом же деле это были их собственные фантазии. Их приглашали на праздничные вечера в детских садах, в Институте же им разрешили играть один раз в год в большом органном зале. И всегда это был один из скучнейших дней лета, и мало кто вспоминал о дне и часе концерта.

Робер работал на кухне: мыл грязную посуду, убирался в кладовках, вычищал кастрюли, бадьи со сгоревшим дном и застывшими ошметками расплавленного сыра, счищал гарь ножом, придумывал свои способы, изобретал собственные чистящие смеси. Жозетт трудилась в медпункте: пересчитывала порции обезболивающего, раскладывала упаковки с компрессами, стерилизовала инструменты для диагностических проб, но прикасаться к детям врач ей запрещал, говоря за

спиной, что у нее руки блудницы, на самом же деле это были руки арфистки. Часы работы Жозетт и Робера не совпадали: Робер по вечерам оставался один в течение получаса; Жозетт, в свою очередь, была одна с семи до девяти, потом начиналась игра в микадо.

Вернувшись из медпункта, Жозетт поцеловала Робера и пошла глянуть, как там ее мыши. Вначале ей показалось, пластиковая крышка на дуршлаге лежит как-то не так, она сразу пощупала резинку. «Ты это трогал?» – спросила Жозетт. «Нет», – ответил Робер. Посудина была слишком легкой, она прильнула к ней, чтобы послушать, слегка встряхнула, но радостного нетерпеливого писка, требовавшего опилок с грюйером, не услышала. «Скажи, что ты с ними делал?» – «Ничего!» – ответил Робер. – «Клянусь тебе, это не я. А что случилось?» – «Мыши пропали!» – «Я твоих мышей не трогал!» – воскликнул Робер. – «Если ты что-то натворил, я убью тебя!» Жозетт не пыталась найти мышей, что по прежнему ссались и воняли за шкафом, но почему-то сидели при этом тихо. Жозетт ушла из 114 номера и ночью не возвращалась. Робер не знал, где она ночевала. После работы на кухне он добрался до медпункта, но кушетка стояла пустой, не было даже больного. Жозетт вернулась в девичью спальню, нашла там незанятую кровать и, никому ничего не сказав, уснула.

На следующий день Жозетт вызвали к директору: из медпункта исчезли все склянки с опиумным болеутоляющим, которое выписывают при

коликах. Придя в кабинет, Жозетт почувствовала нечто для нее непривычное: запах, который исходит обычно от рыжих, к нему примешивался запах лежалой шерсти и свежей древесной стружки. Она не понимала почему, но все это облако вместо того, чтобы вызвать у нее тошноту, ей понравилось, взволновало ее, однако она оставалась настороже, поскольку, разумеется, запах исходил от живого человека, но при этом не слышалось ни звука, который выдавал бы его присутствие. «Заходите, Жозетт, – сказал директор, – позвольте представить вам месье Тайгера, он с сегодняшнего дня присоединяется к коллективу и будет работать массажистом в купальне. Жозетт – одна из наших лучших работниц, она служит в медпункте». Директор по-прежнему сидел за своим столом, Жозетт услышала шорох переставляемых ног и направилась в сторону, откуда шел запах, вытянув вперед руку, но незнакомец услышал, что она приближается, и быстро от нее увернулся. Она наскочила на кресло и покраснела. Директор засмеялся. Он считал себя единственным зрячим во всем заведении: во главе такого мира должен стоять человек, обладающий зрением. Неуклюжесть слепых вызывала в нем приятное чувство физического превосходства. «Попробуйте еще, Жозетт, сейчас вы его отыщете». Но Жозетт замерла. Повисла тишина, и вдруг, словно клешня, молот, таль, на нее обрушилась несусветная лапища, сдавила ее, скрутила, от лапы разило потом рыжего человека, шерстью и деревом. «Здравствуйте!» – проговорил человек, и голос его был подобен руке и запаху – такой же грубый и жаркий, обволакивающий, могучий и при том плутоватый. Жозетт почувствовала, что

взмокла. «Теперь можете нас оставить, – сказал директор, – этой истории с украденными склянками давать ход мы пока не будем, если же он – или она, никогда ведь не знаешь, кто именно – примется за свое, то пойдем на ответные меры, а пока – как можно тщательнее следите за наркотическими средствами, вам известно, что нынче в моде снаружи, будет скверно, если эта зараза перекинется и к нам. Идите, я должен обсудить с месье Тайгером, на каких условиях он будет у нас работать».

Тайгер отказывался ходить с белой тростью, утверждая, что эта опора для инвалидов, а не таких крепких парней, как он. В правой руке он сжимал ореховую дубину, в левой – вырезанный из тростника свисток, издававший звук, похожий на крик совы. Коренастый, казалось, он только что вышел из дикого леса или бурлящих вод горной реки. С растрепанной огненной шевелюрой, изуродованными глазами, в которых белое мешалось с зеленым; с точеным носом, чувственными губами; в коротких черных брюках из грубого льна, обтягивающих ягодицы, – четко очерченные, как у наездников, – облегающих разделенный швом надвое увесистый и упругий зад, демонстрирующих спереди все хозяйство, – убранное будто в массивный защитный кожух, – и заканчивающихся у колен; при всем этом голени были неожиданно узкие; он носил шелковые туфли с кожаными подошвами и при каждом шаге словно подпрыгивал; казалось, он сошел с допотопной олеографии, нежели явился с улиц привычного города. Единственным оправданием такой эксцентрич-

ности служила его слепота, которую он никак не пытался скрыть. Сверху на нем красовался заправленный в брюки вечерний наряд из черного шелка, что некогда принадлежал матери и давно вышел из моды, к плечам шли ассиметричные мережки, под ними виднелась бледная гладкая кожа мясистых грудных мышц; на спине прореженная ткань превращалась в декольте, обнажавшее шею и широкие, молочного цвета лопатки, усыпанные родинками и веснушками. На ходу Тайгер никогда не опирался о стену, шел вдоль нее уверенно, прямо, перепрыгивая через ямки, которые даже не искал своей ореховой палкой. Ослеп он в семь лет, играя в поле за родительским домом: перед ним взорвалась оставшаяся с войны граната, изуродовавшая лицо, казалось, уцелела лишь его половина – восхитительный профиль, вызывавший одни сожаленья о том, каким прекрасным было это лицо прежде, – злые языки поговаривали, что во всем виноват отец, от жадности подстроивший взрыв, чтобы воспользоваться страховкой. Но почти сразу после этого Тайгер ушел из дома, испробовав множество разных профессий. В подмастерьях у плотника пилил и резал по дереву, устраиваясь на ночлег в гробу. Пахал на ферме, засыпая по вечерам в соломе. Когда подрос, был коробейником, башмачником, звонарем, мастерил кладбищенские венки из бусин, топил на фабрике шоколад. Потом однажды стал говорить, что он – массажист, наследник древней китайской науки, на самом же деле он просто украл соответствующие бумаги. И явился тогда в Институт. Он представил заранее, какие могут возникнуть вопросы и подозрения, придумал ответы, сочинил безукоризненную

историю о своем прошлом. Не подумал лишь об одном: ладони у него были все время мокрыми, а у массажиста руки так сильно потеть не должны.

У Жозетт теперь вертелась в голове лишь одна мысль: поскорее почувствовать вновь этот запах, ощутить эту хватку, чтобы проверить, по-прежнему ли она хочет отдаться. Под предлогом, что ей нужно отнести мазь, она вышла из медпункта и спустилась к баням, шла по ним в халате, зажав в руках металлический ящичек и подняв голову выше обычного, пытаясь уловить запах. Но там витал пар, мешалось множество разных запахов – мыла, пота, хлорки, загрубевшей на ногах кожи, лаванды, крема для бритья, немытых волос, талька, влажных полотенец, резины, – они словно боролись друг с другом и льнули к ее лицу, она чувствовала, будто обволокла ее влажная, жирная пленка, она отерла лицо рукавом и продолжала путь меж пустыми и занятыми купальнями, пересекла коридор, по бокам которого стояли душевые кабины, миновала мужские бани и приближалась к массажному кабинету, который многие месяцы был на замке. Когда она слышала, что кто-то идет навстречу, она отходила, как полагалось, правее. И вдруг меж простых и привычных запахов появился резкий дух рыжего человека – от пара он сделался словно более едким, в нем по-прежнему чувствовалась примесь дерева, шерсти и табака, казалось, в большом ушате из новых, только что обструганных досок в горячей воде замочили широкий вязаный грязный пуловер, насквозь пропитавшийся потом. Жозетт застыла на месте, потом, наклонив-

шись, тихо поставила металлический ящичек на пол. Слышалось, как массируют тело, тщательно смазывают его, трут, хлопают по толстому жиру, и кто-то постанывает, бурча как будто молитву. Это был управляющий, он наконец-то вернулся к былой привычке, от которой пришлось отказаться, когда предыдущий массажист нежданно-негаданно умер: лишь на сеансе массажа, когда его мяли и шлепали, у него было время и силы подумать о Боге, он вываливал огромный живот на мраморный стол и препоручал себя заботам специалиста, словно то существо высшее, и будь что будет, как говаривал он себе, приступая к своим литаниям, от монотонности которых засыпал, но крепкий шлепок сразу приводил его в чувство. Жозетт затаилась в углу и принялась ждать конца сеанса; на сквозняке, когда распахивалась дверь соседней парильни, запах чувствовался сильнее. Она расстегнула несколько пуговок на халате и попыталась представить Тайгера – он снял свой экстравагантный костюм и был теперь с голым торсом и в шортах, на ногах сандалии с деревянной подошвой. Управляющий пошел окунуться в холодную ванну, где его кудахтанье сменилось ревом и ойканьем; согласно прежней своей привычке, он сунул Тайгеру монетку в пять франков: «Ваш предшественник делал все как-то иначе…» – сказал он. – «Это китайский метод», – ответил Тайгер. Он чуть было не выдал сейчас свою профессиональную несостоятельность, но все укутавший пар скрыл его реакцию. Наконец кабинет был свободен, и Тайгер мощной струей из шланга мыл массажный стол, где только что, распластавшись, лежал управляющий. Жозетт вошла, съежившись: «Это я…» – начала было она. Но он тут же ее обо-

рвал: «Замолкни! Я знаю, что это ты, сразу тебя распознал! Я таких поблядушек не пропускаю! Давай, подойди поближе!» – он оттянул резинку на шортах и сунул ей в руку хуй: тот был подстать запаху – тяжелый, гладкий и смрадный, залупа в хмельной трухне. Жозетт обалдела: ей показалось, хуй раза в три больше, чем у Робера, она щупала, желая удостовериться. – «Где и когда?» – спросил Тайгер, заговорив как дворовая шпана. – «Ой, ну не знаю», – сказала Жозетт. – «Как это ты не знаешь, ты тут живешь! Устрой мне небольшую экскурсию!» Жозетт назначила встречу тем же вечером в спортивном зале для старших, где было открыто в тот час, когда Робер еще трудился на кухне. Она представила, как Тайгер засаживает ей на батуте. Но жуткий грохот отвлек ее от мечтаний: предыдущий клиент споткнулся о ящичек с мазями, один из тюбиков лопнул, и управляющий, поскользнувшись, в довершение картины проехался по полу и ревел теперь как заведенный.

«Никуда твои мыши не делись, – сказал Робер, – чувствуешь ведь, как воняет. Так что нечего было хныкать». Жозетт сняла халат, который никогда не оставляла в медпункте, боясь, что его украдут. «Мне на этих проклятых мышей наплевать, – ответила она, – пусть хоть сдохнут, не желаю больше их видеть! А который час?» Робер потрогал часы: «Без четверти семь». – «И ты еще не на кухне?» – удивилась Жозетт. – «Да рано ж еще! – сказал Робер. – Еще целых пятнадцать минут. Что с тобой такое?» – Жозетт, не ответив, легла на кровать. – «Перекусим по-быстрому? – спросил Робер. – Я принес немного ветчины». – «Я не хочу есть, Бер-

тик, – ответила Жозетт, – не заставляй». – «Раньше ты меня так не называла, – сказал Робер, – какое ужасное слово: „Бертик“!» – «Ну что ты пристал, „Бертик“ – то же самое, что „Робер“, так всегда у нас говорили, не я это придумала, звучит, и правда, немного противно, но я ведь не виновата, тебя так назвали родители». – «Смотри, какая ты злюка, Жозетт, – он пытался придумать какое-нибудь ласкательное словечко, чтобы звучало еще погаже, – что, если я буду звать тебя „Жо“? Или „Жежетт“, как тебе?» – «О, „Жо“ – шикарно, – ответила Жозетт, – да и „Жежетт“ не плохо. Ты, главное, не стесняйся!»

Готовясь к встрече, Тайгер облачился в свой допотопный костюм. Директор предоставил ему комнату умершего массажиста, его книги и инструменты там так и лежали, и Тайгер, листая учебник, вдруг понял, до какой степени ему не везет: от массажиста в первую очередь требуется, чтобы руки были сухими. К счастью, там же в руководстве приводились некоторые хитрости, позволявшие от недостатка избавиться: прежде всего, следовало пользоваться пемзой, а на ночь, как это ни странно, смазывать руки вазелиновым маслом. «Надо будет завтра купить», – сказал себе Тайгер.

Жозетт пришла на свидание раньше и ждала, устроившись на коне. Она выбрала самое откровенное платье, которое смогла отыскать в гардеробе, не надела ни трусов, ни лифчика. Услышала, как открывается дверь: «Привет, дорогуша, – ска-

зал Тайгер, который не был уверен, что она придет, но все же хотел удостовериться, и сейчас ему уже не терпелось, хуй встал. – Как он тебе, понравился?» – «Ты о ком?» – спросила Жозетт. – «Ты ж моя миленькая, чего из себя дуру-то строишь?» – И сунул ей хуй в руку. – «Я им уже столько пезд причесал, столько задов отделал!» – продолжал Тайгер. – «Так вот ты какой, Йети!» – выпалила Жозетт. «А это еще кто такой? – спросил Тайгер. – Это мой папа? Ты ведь знаешь, что „тайгер“ у американцев означает „тигр“?» И отделал ее на батуте.

Робер ждал, все сильнее сжимая в руке палочки. «Угадай, кого я к нам привела?! – спросила Жозетт, у которой ноги слегка подкашивались. – Этот месье весьма обходительный, мы познакомились в кабинете директора, и он с удовольствием поиграет тут вместе с нами». – «Привет!» – буркнул Тайгер и протянул руку. – «Не уверен, что можно играть в эту игру втроем» – ответил, смутившись, Робер. – «Да можно, конечно, – сказал Тайгер, – давайте уже начнем!» Но, когда пришла его очередь, Робер, то ли разнервничавшись, то ли что-то задумав, одним ударом разнес все палочки.

Во время ебли Тайгер не говорил похабщины и думал всегда о чем-нибудь отвлеченном – грезил о луне и звездах, о вещах метафизических, о том, какие бывают глаза. Трахая Жозетт в первый раз, он спросил: «А ты знаешь, что для зрячих глаза священны, как золото? Мы даже представить себе такого не можем, когда трем их дерьмом, чтобы хоть как-то унять зуд. У зрячих есть специаль-

ные хранилища глаз, они кладут их в банковские ячейки и даже заказывают себе искусственные глаза, которые стоят больше, чем настоящие. Они выдувают их из горячего стекла, вкрапляя измельченные драгоценные металлы, осколки бирюзы, аметистов. А лучшие экземпляры передают из поколения в поколение по наследству и трансплантируют. А ты сама, ты бы хотела, чтобы у тебя были глаза, как у зрячего?» – «Ни за что!» – закричала Жозетт.

«Мне пора», – сказала Жозетт, поправляя платье. «А ты всегда ходишь без трусиков? – спросил Тайгер. – Жаль, мне трусики нравятся». – «Да что ты, конечно, я хожу в трусиках». – «А мех? У тебя случайно нет меховой шубки? Просто обожаю…» – «Я опоздаю!» – воскликнула Жозетт. – «Мять титечки, укрытые белым норковым мехом!» – «Какой еще белый мех!? – возмутилась Жозетт. – Ой-ой-ой, я уже опаздываю!» – «Да ну что такое? Хочешь сказать, мы даже не выпьем по рюмочке, чтобы отпраздновать?» – «Есть небольшая проблема, – сказала Жозетт, – я замужем». – «Если я кувыркаюсь с замужней бабой, то скоро она разведется». – «Одевайся! – взмолилась Жозетт. – Ты меня слышишь?» – «Пожалуй, мне надо поговорить с твоим парнем».

Палочки микадо были сломаны, надо было изобрести что-то еще. «Я придумала, – сказала Жозетт, – будем по очереди описывать, что каждый из нас видел до того, как потерял зрение, или ему кажется, что он видел. Это весело. Выдумы-

вать тоже можно». – «Не понял. Как это?» – сказал Робер. – «Могу привести пример, чтобы тебе стало ясно. Помню, как видела огромную зеленую лягушку, которая пыталась влезть в маленькую такую, красненькую коробочку», – сказала Жозетт. «Что за бред! Я не верю!» – возмутился Робер. – «А тебя и не просят верить, – парировала Жозетт, – тебя просят рассказать, что ты видел». – «А у вас не найдется чего-нибудь выпить? – спросил Тайгер. – Нас бы это взбодрило». – «Есть бурбон, – ответил Робер, – угощайтесь». – «Давай лучше на „ты“, красавчик. Расскажи теперь, что ты видел?» – «Лучше ты», – отрезал Робер, которому разговаривать не хотелось. – «Я видел кровь, когда до смерти избил отца», – ответил Тайгер. – «Как тебе это удалось?» – «Отделал его дубиной». – «Да нет, как тебе удалось различить кровь?» – «Кровь – единственное, что может увидеть слепой». – «Все ты врешь!» – возмутилась Жозетт. «Ну, а я, – начал Робер, поскольку у него появилась идея, а виски развязало язык, – видел извержение вулкана, огонь был таким ярким, что его стало видно, просто невероятно!» – «И ты врешь, – сказала Жозетт, – не хочу я играть с лжецами!» – «Ты просто злишься, что теперь все забыли про твою жабу,» – заявил Тайгер, наливавший уже шестой стакан бурбона и почуявший деньги. Когда он был в бегах, один ворюга научил его распознавать, где лежат ценности. Деньги были у Робера в приоткрытом кармане. Рассказывая очередную небылицу и дурача Робера, Тайгер осторожно их вытащил, положил себе и вскоре отправился спать.

«Хочу меховую шубку», – сказала на следующий день Жозетт Роберу. – «На какие шиши? Ты

и так уже начала таскать у меня деньги! Думаешь, не замечаю?» – «Я никогда у тебя ничего не таскала, Бертик!» – запротестовала Жозетт. – «Ты знаешь, сколько она стоит?» – «Ты же купил себе этот чертов мотоциклетный комбинезон! Потом, думаешь, я забыла, как ты назвал меня „грязной шлюхой“? Надо только дождаться следующего пособия!» – «А что с мышами, пусть дохнут от голода? Я с ними возиться не буду!» – сказал Робер. – «С какими еще мышами? – спросила Жозетт. – Никогда за всю жизнь не видела ни одной мыши! Ты купишь мне шубу, Робер!» – «Ты просто сдери с них шкурки, и будет тебе шуба из мышиной норки, кто здесь заметит разницу?» – «Месье изволит шутить!» – сказала Жозетт и хлопнула дверью.

Кипа поставил на стол Хохензайна стопку книг, которые тот прежде просил доставить. Неизвестно, какие страсти таились в душе библиотекаря, но входить к нему без звонка дозволялось лишь Кипе. В этот раз Хохензайна на месте не было. Кипе стало интересно, и он решил обследовать, что лежит перед ним на столе, – библиотекарь ему нравился, и он очень хотел себя зарекомендовать, чтобы тот не вспоминал о всяких неприятных историях, которые болтали о Кипе. Кипа протянул руки и нашарил три ящика, в первом из них он сразу же опознал бинокль со снятыми линзами; во втором обнаружил лезвия, рукоятки с которых были сняты и, наверное, выброшены; в третьем ящике было полно пружин. Как всегда, на столе валялось много оберточной бумаги, подарочных коробочек и веревок. «Что можно сделать, – раздумывал Кипа, – из бинокля

без линз, разобранных ножей и пружин?» Продолжая шарить по столу, он наткнулся на отпечатанный шрифтом Брайля боттеновский справочник с перечнем зрячих людей разных профессий. Кипа заметил, что на странице с указанием офтальмологов лежала закладка.

Тайгер у себя в комнате облокотился о подоконник, будто смотря на улицу, – за окном простирался двор, где учащиеся гуляли на переменах. Он занимал этот пост каждый раз, когда бани были закрыты, а между занятиями возникал перерыв, – ему нравилось слушать крики мальчишек, назойливый шум шагов, когда дети ходили по кругу, нравилось, когда доносились до него их шушуканья, гомон при перепалках, при беге, вопли тех, над которыми радостно издевались, он вспоминал о днях молодости, которой у него не было, думал о том, как протекают юные годы здесь, в пансионате, сочиняя на случай, если придется когда-нибудь рассказывать об этом в очередной небылице. С высоты третьего этажа свистел в свисток, изображая крики совы, старшеклассники поднимали головы, чтобы получше расслышать шум крыльев, тогда он смачно плевал на улицу, как придется, плевки падали им на волосы.

Тайгер сказал Жозетт: «Знаешь, что сделало нас такими, какие мы есть? Это сифилис, солнечные лучи, скарлатина, мухи, пыль, ножи, испарения. А знаешь глазные средства, которые могут помочь? Это вытяжка из мужских волос или

волос новорожденного, которую вводят в глаз золотой иглой. Желчь черной коровы. Состав из толченого мяса газели и желчи медяного козла. Смесь из вяленых кусочков языка тигра. Суп из муравьев и мух. Снег, собранный меж Богоявлением и Сретением. Почки белой вороны. Вылезшие из орбит заячьи глаза. Сложенные квадратиками две бумажки – одну следует сжечь, высыпав пепел в чай, который сразу же надо выпить, а вторую пришить к одежде. Жир ежа, которым надо тереть виски. Собака, если с нее живой содрать кожу и потом, еще теплую и истекающую кровью, посадить себе на голову. Молоко только что родившей тигрицы. Разноцветные соки, что проливаются от твоих укусов, их можно вколоть в сетчатку. А хочешь, прежде чем выздороветь, узнать, почему сама ты такая, какая есть? Считаешь, потому, что мать столкнула тебя маленькой в выгребную яму? Ошибаешься! Это потому, что ей довелось согрешить с поросенком!»

Вначале они встречались каждый вечер в зале для гимнастических упражнений, когда Робер работал на кухне. С ним они уже неделю не виделись и теперь предавались самым необычным сексуальным фантазиям. Тайгер повисал на верхней перекладине шведской стенки, спустив шорты и вывалив огромный хуй наружу, Жозетт должна была отыскать его по запаху, потом как следует разогреть, чтобы он набух у нее во рту, после Тайгер поворачивался к ней спиной и она вылизывала ему задницу. Далее Жозетт взбиралась на гимнастического коня, изгибаясь всем телом, и он вылизывал ей пизду. Разгорячив-

шись, она повисала вниз головой на канате для лазанья, зажав один из толстых узлов между ног в то время, как Тайгер покусывал ее грудь. Иногда он взбирался по канату с другой стороны, чтобы заправить ей в рот, и кончал, не в силах сдержаться. Они цеплялись, хватали друг друга за ноги и выделывали номера, скача в мешках то туда, то сюда: «Мы – цирковые треножники, снаряды, на которых топчутся на арене слоны, – кричали они, – номер подходит к концу, и нас катят по песку назад за кулисы!» Они лезли опять на батут и, обнявшись, прыгали вместе, с каждым прыжком он проникал в нее глубже, они скакали, пока не кончат, это происходило словно бы в невесомости. Они продолжали свои номера до полного изнеможения, варьируя акробатические фигуры. «Мы – циркачи, дающие представления на батуте!» – говорила, смеясь, Жозетт, пока они одевались.

Тайгер сказал Жозетт: «Я буду твоим зеркалом! „На что слепому зеркало?“ – спрашивает арабская поговорка. С другой стороны, как слепой без зеркала может поверить, что язык у него розовый, как цесариные щечки?»

Жозетт отправилась в город покупать шубу, руководство предоставило ей кредит при условии, что в течение четырнадцати месяцев из пособия будет удерживаться определенная сумма. Прежде Жозетт уже прикасалось к норке, так что продавцу не удалось ее облапошить, подсунув другой мех, зато с окрасом он дал себе волю.

Жозетт хотела белую норку, о которой говорил Тайгер, но продавец всучил ей мех зеленого яблочного оттенка, – красильщики проявили излишнюю смелость в экспериментах, – ему никак не удавалось избавиться от этого экземпляра, и он загнал ей шубейку без зазрения совести. «Оттенок просто великолепный, не пожалеете! Настоящий горностай! Белее снега! Не забудьте средство от моли! Ладно уж, даю вам четыре пакетика по цене одного, с ароматом жонкили, вам точно понравится! Упаковать или сразу наденете?» – «Конечно, сразу!» – сказала Жозетт.

Тайгер убедился, что пемза и вазелин, которыми он усиленно пользовался, каждый день натирая руки, не особенно действуют: ладони по-прежнему оставались влажными, к тому же появилась экзема. Он не мог рассчитывать, что из-за пара никто ничего не заметит; вдобавок, если пользоваться тальком, то пар редеет. Решил, что будет массировать ногами: «Скажу, это китайский метод». Расстелив полотенце, он заставлял пациентов лечь на пол, бурчал «Осторожно!», встав прямо на спину, и начинал топтаться, двигаясь от ягодиц к шее, затем обратно, даже не задумываясь о том, как идет к сердцу кровь, подпрыгивал, постукивал, сжимал и разжимал пальцы, пританцовывал, давя на исстрадавшийся позвоночник, после чего боли жестоко усиливались. Поступали жалобы. Тайгер заявил, что это только начало, в дальнейшем он планирует воздействовать на болевые точки теплом, применять крапиву и магические кристаллы – это самый архикитайский метод. У Жозетт в медпункте сме-

ли всю мазь против ожогов. «Мы с тобой, – сказала она Тайгеру, – могли бы открыть небольшую лавочку в городе – для зрячих. К нам бы выстроились целые очереди! Нас все бы знали!»

«Я много странствовал, – рассказывал Жозетт Тайгер, – общался со зрячими, спал с ними, расспрашивал их о том о сем, они рассказывали, о чем мечтают; некоторых я мучил, чтобы они признались мне в том, что прежде не смели произнести, о чем говорили только среди своих или шептали на исповеди, или писали тайком на бумаге; ты даже представить себе не можешь, какой хаос творится у них в душе, там столько всего, и все размыто, туманно, лживо, повсюду одни окольные пути, закоулки, все переполнено, хлещет без остановки, петляя и уносясь прочь; ты и вообразить не можешь, насколько они порочны, кажется, они лишь забавы ради отыскивают в себе изъяны, дурные наклонности; и ты не можешь вообразить, каких пределов достигают их знания – они безграничны и бесполезны; все, что они создают с таким блеском – лишь сотрясение воздуха; их выверенные правила, расстояния, перспективы – нелепы, глупы; а чего стоят их трепет перед такой ерундой, как цвет, их возвеличивание самих себя, их поклонение солнцу, вызывающему болезни; ты и помыслить не можешь, но я тебя научу, я знаю, что у зрячих внутри, лучше, чем любой из них. Почему они так боятся смерти, – ответь мне, – и почему ее не боимся мы? Как мыслят зрячие – вот что следует изучать в школе наряду с географией и историей, поскольку, если мы этого не узнаем, то никогда не сможем победить и управлять ими».

Жозетт привела Тайгера к ящику с песком. Они с Робером давно им не пользовались. Она стерла карту Германии, нарисованную учениками, и принялась писать цифры: «Нужно придумать код, – сказала она, – например, если я пишу „Батут – 8“, это означает, что встречаемся на батуте в восемь, если же я пишу „niente trampolino“ – в переводе с итальянского „никакого батута“ – это говорит, что я не смогу прийти, можно писать просто „Б“ вместо „Батута“ – будет значить еще „Беру у тебя в рот“ – или только „Н“, то есть „Нет“, – так даже удобнее. – «Норм! – сказал Тайгер, – тогда, если я рисую треугольник, это значит, я хочу, чтобы ты пришла голой, в одной только шубке; если же треугольник зачеркиваю, тебе надо надеть трусики». – «Норм! – сказала Жозетт, – тогда, если я рисую триумфальную арку, – вот так, – это значит, я хочу, чтобы ты пришел в шортах, если же я рисую шляпу с пером, тебе надо нарядиться в свой старый костюм». – «Надо будет придумать побольше всяких обозначений!» – ответил ей Тайгер.

Чтобы порадовать Жозетт, Робер выманил мышей из-за шкафа и собрал их всех в дуршлаге, получилось пятьдесят четыре розовых голодных комочка, сидящих поверх друг дружки, но Жозетт не обращала на них никакого внимания, даже не искала бывшую любимицу, маленькую Жозетт. Редко возвращаясь домой, она занималась шубой – приводила ее в порядок, чистила, выводила жирные пятна, отпаривала, дошло до того, что она могла приготовить ей ужин; если Робера не было, Жозетт с нею разговаривала, называя

шубу своей юртой, сокровищем, душегреечкой, бабочкой. Она не хотела с ней расставаться, таскала ее с собою в медпункт, делала в ней перевязки; халат она скомкала и запихнула в ящик, где обычно хранилась марля. Кто мог видеть ее прогуливающейся по коридорам в зеленой норковой шубке, кто мог ее осудить? Никто, кроме директора. Она старалась обходить его кабинет стороной и не мелькать там, где он обычно устраивал проверки. К тому же директор никогда не появлялся в медпункте. Шубка была тяжелой, и какие-то движения давались с трудом, но Жозетт через раз удавалось вовремя увернуться, чтобы мех случайно не коснулся старшей медсестры; иногда она даже выворачивала шубу наизнанку. Начиналось лето, стояла удушающая жара, но Жозетт не жаловалась, только по-другому теперь ее звала, «душегреечка» более подходило зимой, теперь шуба стала «беленьким медвежонком». «Тебе по-прежнему нравится твой эскимосик?» – спрашивала она Тайгера, когда он входил в гимнастический зал, теперь он все время опаздывал.

Роберу, напротив, «медвежонок» все больше не нравился, он раздражал его с самого начала. «Из-за твоей шубы у меня уже глюки, – заявил он Жозетт, – мне все время как будто что-то мерещится, иногда кажется, что она светится». Однажды ночью шуба совсем не давала ему покоя. Пока Жозетт спала рядом, он встал, чтобы потрогать мех, накинул шубу на голое тело, прошелся по комнате, а после, наполнив бадью, швырнул шубу в горячую воду.

«Ты чего орешь, совсем одичала?» – спросил Робер. Жозетт только что вытащила шубу из таза и застыла, словно от болевого шока, когда выдернули все ногти. «Перестань вопить, подумают еще, что я тебя режу!» – «Да нет, это я отправлю тебя на тот свет, Робер! Больше ко мне не притрагивайся! Пусть хоть я превращусь в кастрюлю, которую ты, несчастный посудомойщик, обязан вычистить! Руки у тебя гаже пригоревшего сыра! Не желаю за них держаться!» И все же она попыталась спасти шубу, превратившуюся теперь в жалкий мокрый ком, с которого текли зеленоватые струйки, при этом воняло остывшим жиром и серой; Жозетт несколько раз отжала бесформенную массу, решив ее высушить на окне, вывернув наизнанку и повесив за рукава. «Если не получится вернуть ей прежний вид, то клянусь тебе, Бертик, я тебя в этой шубе похороню!»

Тайгер наведался в медпункт, поскольку Жозетт на песке написала, что не придет вечером в гимнастический зал, она не осмеливалась выходить без шубы, лелея надежду, что к завтрашнему дню та просохнет. Тайгер так сильно тер руки теркой, что до крови счистил почти всю кожу. «Видишь, как я тебя люблю, – сказал он, – я сделал это ради тебя». Но это не помогло, Жозетт плакала: «Без шубки я чувствую себя, как мексиканская голая псина: вся в пятнах, облезлая и паршивая, какой-то бело-розовый альбинос, никчемная тварь. Если мех все же испортился, то я изничтожу Робера, – я поклялась, – но как это провернуть?» – «Сначала его надо хорошенечко напугать!» – сказал Тайгер.

Во второй раз Тайгер зашел к Жозетт и Роберу, чтобы по-соседски сыграть с ними в палочки и побыть с Жозетт, не нарушая приличий, но Робер палочки так и не починил, поэтому Жозетт предложила сыграть в игру, которую назвала «Черный дьявол». Требовалось по очереди рассказывать, кто кем хотел быть и чем заниматься, если бы вдруг прозрел. Тайгер сразу же заявил: «Я бы хотел стать воздушным гимнастом, они порой завязывают глаза перед тем, как кинуться вниз, правда, многие жульничают, используя полупрозрачную ткань; в любом случае, они ведь знают, за что ухватиться». – «Ну а я, – продолжил Робер, желая испортить игру, – хотел бы работать посудомойщиком». – «Он у тебя совсем тряпка, – прошептал Тайгер Жозетт, – я больше к вам не приду». – «Я бы тоже выбрала себе что-нибудь артистическое, – подхватила Жозетт. – Стала бы танцевать в Опере! А если бы там не получилось, то в Фоли-Бержер или где-нибудь в таком духе. Стриптизерши не такие уж бестии, как все думают. Они очень даже ответственные».

Тайгер спросил Жозетт: «Что помнишь ты, нежный цветочек, пыльца невесомая, о нашей империи? Глаза мои, обращенные внутрь, беспрестанно вглядываются в историю. Знаешь ли ты, что нам была уготована бездна, куда отцы должны были нас швырнуть сразу после рождения? Знаешь ли ты, что мы принадлежим к толпе хромых, прокаженных, глухих, сумасшедших? Знаешь ли ты, что мы должны были разделить судьбу дураков и калек? Знаешь ли ты, что мы никогда не имели права голосовать? Знаешь ли

ты, что наши права собственности теперь весьма спорны, но нам предоставлено право на бесплатный полив трех акров земли? Знаешь ли ты, что евреи заставляли нас вращать мельницы, а в Китае мы шелушили рис, в Индии гнали спирт, близ Евфрата нас запрягали возить повозки? Знаешь ли ты, что среди нас были жонглеры и дети царей? Знаешь ли ты, что мы играли на кобзах, поддерживая казаков во времена татарского нашествия; и на гуслях, защищая славян, сражавшихся с турками? Знаешь ли ты, что мы так много воспевали Мадонну и перебирали четки, твердя молитву, и жертвовали собой, что превратились в безбожников? Знаешь ли ты, что мы учились читать, перебирая узлы на веревках, ленты, бобы, чечевицу, монеты, делая засечки на ветках, а наши деревянные книги сжигали в печах? Знаешь ли ты, что нас приводили во время тумана на берег, чтобы мы отыскали, где стоят корабли? Знаешь ли ты, что мы вили веревки и нашими конкурентами тогда были каторжники? Знаешь ли ты, что мы служили охотниками на чертей? Знаешь ли ты, что среди нас были гении, обучавшие зрячих? Знаешь ли ты, что у нас были свои ученые, лексикографы, переписчики священных текстов, знатоки оттенков, аскеты, алгебраисты, ораторы? Знаешь ли ты, что у нас есть целая армия чародеев? Знаешь ли ты, как нас восхваляли и старались утешить? Знаешь ли ты хотя бы, что мы основали самую изощренную империю мира, что мы сплоченнее франкмасонов, настойчивее фанатиков, богаче тамплиеров? Что ты знаешь, несчастная маленькая арфистка?»

«Ты лжешь! – сказала Жозетт. – Ты не слепой! Ты слишком много всего знаешь, ты слишком умен для слепого! Дай потрогать твои глаза, тогда сразу все станет понятно. Как смог ты столько прочесть? Как смог раздобыть эти книги, рассказывающие о том, что обычно от нас скрывают, не желая расстраивать? Отвечай, Тайгер, предатель! Я знаю, что ты все видишь, видишь меня! Все это время ты глядел на меня, я шла перед тобой, а ты тупо пялился, когда у меня подергивалось лицо и я махала туда-сюда тростью! О, как, должно быть, глупо я выглядела, когда терла глаза, испытывая прилив удовольствия, радость, которую ты мне дарил! Тайгер! Ненавижу тебя!..»

Тайгер пытался зажать рот ей рукой, совал ей язык, тыкался носом. Дал отвертку, сказал: «Бей, выколи мне глаза, хуже уже ты не сделаешь!»

«Я ничего не вижу, – продолжала Жозетт, – но, если бы я вдруг прозрела, я бы ненавидела розовые гортензии на пути, ненавидела бы обложки дисков, ненавидела бы картинки, которые показывают по телевизору, ненавидела бы лица отца и матери, ненавидела бы небо и тьму, ненавидела бы прозрачные слезы, мне бы не нравился ни один цвет, кроме цвета твоих потускневших глаз, я бы хотела видеть только тебя!»

«Если так, не прикасайся никогда к моему лицу, – сказал Тайгер, – не старайся представить его черты, потому что лицо это сожжено и бес-

форменно, в противном случае ты поймешь, что перед тобой морда животного, сгоревшее месиво!»

Но Жозетт все же хотелось знать. Она повела Тайгера за пределы Института, таскала его за руку по всем улицам, так они удалились от центра города. Как туристы, просящие незнакомцев сфотографировать их, Жозетт, заслышав приближающиеся голоса или звуки шагов, или вдруг обнаружив, что кто-то стоит с ними рядом, выпихивала Тайгера вперед и обращалась к прохожим: «Скажи мне о нем что-нибудь! Он, на твой взгляд, красивый? Или уродливый? На него страшно глядеть?» Но прохожие побыстрее шли мимо. Пришлось дойти до самых окраин, чтобы кто-то остановился и им ответил. Так им попался один юноша. Он сказал Жозетт: «Чего же ты хочешь? Я не могу ответить тебе в двух словах. Тут надо сочинять поэмы, чтобы хоть как-то попытаться показать все великолепие, весь ужас его лица!» Юноша, вставший меж Тайгером и Жозетт, взял их за руки и повел к себе.

Таких людей обычно называют эстетами. Вероятно, юношу можно было так же назвать святым. Жил он в роскоши и – тут нет никакого противоречия – в бедности. Вырос сиротой и недавно получил наследство от деда, оставившего ему дом. Большую часть мебели он раздал, поскольку та особо ему не требовалась. Для себя он выбрал большую гостиную с укрывавшим весь пол поблекшим шелковым ковром, с гонгом –

теперь бесполезным, поскольку не было ни стола, ни слуг, – с неудобной узкой банкеткой и – в центре комнаты – подставкой из черного дерева в египетском стиле, на которой возвышалась запрокинутая восковая голова, очень похожая на живую, на лице ее застыла мольба, и порой, пьяными вечерами, юноша целовал ее в губы. Это была голова Жанны д'Арк, она слышала голоса, и исполнилось ей уже, по меньшей мере, лет сто. Он приобрел ее в разорившемся музее восковых фигур*. Обойдя комнату и ощупав украшавшие ее немногочисленные предметы, Жозетт сказала, повернувшись к юноше: «Сюда бы прекрасно вписалась арфа. Думаю, остальные вещи возражать не станут. Мы могли бы давать здесь концерты!» Тайгер уселся на канапе. Бесшумно, поскольку был все еще босиком, юноша подошел сзади и коснулся его волос. Тайгер знал, что это не могла быть рука Жозетт. Жозетт продолжала: «Ну что, скажите уже просто-напросто, без всяких прикрас: он страшный или прям выше всяких похвал?» – «Страшный», – сказал юноша, прильнув губами к затылку слепого и замерев, не кусая его и не облизывая. «Страшный как что?» – спросила Жозетт. «Как раздавленный дивный фрукт, – ответил юноша, – взглянув на него, можно перепугаться. Вы что, никогда к нему не прикасались?» – «Не позволяет. А если бы даже позволил, мне бы это ни о чем не сказало: меня заставляли ощупывать статуи – никакого эффекта, только пальцы зачесались так сильно, что хотелось содрать с них кожу». – «Но он – теплый, – сказал молодой человек, – лицо даже горячее и как будто пульси-

* См. книгу Эрве Гибера «Мальва-девственник», *Kolonna publications,* 2014.

рует, словно это не лицо, а какой-то орган, само сердце, вырванное у него изнутри». Тайгер взял юношу за руку и сильно сжал. «Мы готовим убийство, – сказал он, – не хотите помочь?» – «Нет, – ответил молодой человек, – не могу, я из дома надолго не отлучаюсь. Если бы вы привели жертву сюда – может быть, но не знаю, вдруг будет противно, так что нет». – «А это ваша жена?» – спросила Жозетт, показывая на голову Жанны д'Арк. – «Можно сказать и так, – воскликнул юноша, – это моя жена, но можно сказать иначе, что это лишь некая емкость, сосуд или большой кусок воска, который будет светить мне ночью, если вдруг отключится электричество». – «Неужели свет настолько важен, что в жертву ему можно принести такую ценную вещь?» – «Свет как таковой – лишь иллюзия, владеющая нашими взглядами», – ответил юноша. – «А не боитесь, что кто-нибудь выколет ваши драгоценные глазки? – спросила Жозетт. – Мы – парочка незрячих слепых маньяков, которым нравится ослеплять зрячих! У нас с собою полно иголок! Почему, вы думаете, мы к вам пристали?» – «Нет, не боюсь, – возразил юноша, – у вас добрые лица». Смутившись от таких слов, Жозетт и Тайгер откланялись.

Робер задыхался. Ночь таяла, от тишины звенело в ушах, сгустившийся воздух в комнате, казалось, приливал к нему, затем уносился прочь, грозя на разные лады, судорожно подрагивал, будто живой. Роберу снилось, что все предметы вокруг – части его тела, мелкие и громоздкие наросты, что из рук растут у него палки и собачьи хвосты, и та швабра, которая стояла за дверью,

и даже топор. Мучимый жаждой, едва одевшись, на лестнице он упал, затем добрался по коридорам приюта к конюшне, украл первую попавшуюся лошадь, вскочил на нее и, прижавшись к массивной шее, пришпорил и вскоре оказался уже в лесу, распространяя вокруг себя ночные запахи звериной мочи и сена, которыми успела пропитаться его одежда, прежде он никогда не ездил верхом и теперь со всей силы цеплялся за гриву. Еще только брезжил рассвет, по бокам мелькала листва, молодой конь на скаку разрывал туман, который словно лоскутьями повисал у висков, небеса опускались, пейзаж уносился прочь, бороздивших его теней уже не было, зато теперь слышались звериные вопли, носившиеся в мутной белизне, он летел вперед словно в капсуле, беспрестанно раздвигающей все границы, горизонт превратился в огненно-рыжий шар, что вертелся будто бы по спирали. Дорогу ему преградил разбойник, собиравшийся отнять деньги: «Дождись сначала ночи, – крикнул Робер, – тогда будешь грабить тех, кто тут заблудится!» – и он пришпорил коня. По ошибке ему почудилось, что скоро начнется гроза. Конь взбрыкнул, сбросив его на землю, и ускакал. Он шел пешком, и вдруг перед ним предстал большой замок, а рядом, отрезав всякие подступы, предательски возник водяной ров. Там же оказался подъемный мост. Робер пошел, придерживаясь за цепь. В замке жил ангел с черными крыльями, он гадал на картах, предрек ему дальнейшую судьбу, а после исчез. Стало ясно, что жизнь он закончит в Венеции, прося милостыню и распевая печальные песни, дорого платя за место гондольеру, дерущему с него аж три шкуры, и стараясь не упасть на влю-

бленных, еле удерживая в равновесии свои отсыревшие кости на похоронных лодчонках. Собственных похорон у него не будет: тело просто вышвырнут за борт.

Прошла невероятно долго тянувшаяся для Жозетт неделя ожиданий, шуба высохла, и вид у нее был крайне плачевный. Казалось, ее сварганили из кривых картонок, на которые приклеили тусклые, жесткие куски шерсти, напоминавшие не мех, а колосья в поле, в проймах все склеилось, словно вымазанное расплавленной карамелью. «Надо подумать, – сказал Тайгер, – нельзя хвататься за что придется, так можно натворить глупостей. Мы составим план, не волнуйся. Конечно же, надо все сделать так, чтобы его смерть казалась случайностью. Но случайностью какого рода? Исключим то, что нам не подходит: он не может умереть, как Клод Франсуа, на выходе из ванной схватив электрический провод; не может умереть, как Роми Шнайдер, от сердечного приступа из-за смешения снотворного с алкоголем; не может умереть даже, как Грейс Келли, от черепно-мозговой травмы во время автомобильной аварии; эти смерти у всех на слуху, они слишком запоминающиеся. Придется придумать что-то другое, мы не можем просто двинуть его дубиной, хотя это было бы проще простого и я такое уже проделывал, мне сподручно, правда, пройдоха крепко стоит на ногах, ты ведь знаешь». – «Да, он прекрасно хранит равновесие, много катался на велике с Кипой». Тайгер поднял голову: «Кто такой Кипа?» – «А, да рассыльный, – ответила Жо-

зетт, – а что?» – «Да то, что его надо как-то сбить с толку, вывести из этого равновесия, чтобы он потерял уверенность и занервничал перед тем, как мы прикокнем его, чтобы несчастный случай смотрелся правдоподобно. А у него есть какие-нибудь пристрастия?» – «Ну, у него есть мотоциклетный костюм, он просто им одержим, однажды пытался примерить, но я его терпеть не могу, так надоел!» – «Нет, – возразил Тайгер, – речь о каких-нибудь там метафизических штуках. Например, верит он в Бога?» – «Вроде нет, не думаю», – сказала Жозетт.

У Робера было предчувствие: он отправился к ящику с песком и узнал росчерк Жозетт, но рядом были символы, оставленные кем-то еще, он не понимал, что они означали, но постарался запомнить их, чтобы расшифровать позже. Три дня спустя привратник принес заказную посылку: он распечатал ее и нашел в папиросной бумаге – без записки, без каких-либо опознавательных знаков от отправителя – один из гигантских зубов, что прежде демонстрировали им на уроках. Неизвестно, что это означало, у него с зубами все было в порядке, так что он, особо не раздумывая, водрузил гигантский зуб в качестве декора на шкаф.

«А он носит часы?» – спросил Тайгер. – «Конечно», – ответила Жозетт. – «Значит, ты могла бы сдвинуть на них стрелку так, чтобы он не заметил? Играя в микадо, ты ведь научилась точ-

ным движениям? Можем предпринять еще кое-что, – продолжал Тайгер, – как ты думаешь, он еще надеется однажды прозреть? А что, если смастерить небольшой буклетик о пересадке роговицы? Я изменю голос, чтобы меня можно было принять за хирурга, и пересажу ему попорченную, больную сетчатку какого-нибудь облезлого, бешеного зверя». – «Но потом же будет вскрытие?» – задумалась Жозетт. – «С этим как-нибудь разберемся».

Робер получил вторую посылку: ему прислали гигантскую муху. Уже не удивляясь, он отправил ее на шкаф, где лежал зуб, подумав: «Без троицы дом не строится!» Получив третью посылку, в которой был огромный паук, он весь затрясся и из суеверия выкинул все три слепка. Когда пришла рекламная брошюрка от Тайгера, он сразу же швырнул ее в мусор, решив, что это опять какая-нибудь ерунда.

Под покровом ночи Тайгер украл несколько макетов, повторявших в деталях помещения северного крыла, где работал Робер, и музыкального зала, который считался не слишком удобным для передвижений: особенно несуразной там была лесенка на балконе – узенькая, угловатая, такие бывают еще у амвона, – вела она к карнизу с небольшими перильцами, который без всякой на то нужды, может, бессознательно решил добавить здесь архитектор, протянув карниз – вероятно, для того, чтобы легче было пройти музыкальных дел мастеру, – вдоль высоких, похожих

на оловянные, труб большого органа. Жозетт, посещавшая музыкальный зал вместе с Робером, клялась, что он никогда на балкон прежде не поднимался: достаточно будет под каким-нибудь предлогом его туда отвести, дезориентировав с помощью переделанного макета, и тогда Робер свалится.

Робер теперь часто приходил к ящику с песком и потихоньку начинал разбираться в обозначениях, порой ошибаясь, но все же улавливая в беготне Жозетт – за которой бдительно следил, напустив безразличный вид, – некоторый распорядок, сопоставляя время, когда она отсутствовала, и следы на песке, – он переносил их в специальный блокнот и старался не попадаться никому на пути; заслышав знакомые голоса или звуки шагов, он прятался в классе естествознания. Тайгер, в свою очередь, твердо решил следовать за Робером, когда позволяло свободное время, дабы усовершенствовать план западни, примечая маршруты привычные, где движения давались легко, и пути более сложные, на которых Роберу приходилось быть предельно внимательным. К последним относился как раз путь через музыкальный зал, поскольку архитектор, как можно было представить, соорудил здесь, проявив особую извращенность, множество самых подлых препятствий; очертания сцены-алтаря были несимметричны, а меж больших ступеней ютились ступени поменьше – крутые, при том еще наклоненные и совершенно не нужные; большим трудом оказывалось изучить даже макеты, которых было четыре и изображали они различные части

зала, достаточно было поменять их местами или просто убрать из них одну-две миниатюрных ступеньки, и макеты превращались в губительные устройства. Робер старался обходить этот зал стороной, предпочитая более длинный маршрут по коридорам последнего этажа. Тайгер продолжал таскаться за ним по пятам, прикидывая, что, если тот его вдруг обнаружит, он заговорит с Робером, изменив голос, – быть может, даже получится сымитировать женский.

Подойдя к двери Тайгера, Жозетт услышала чье-то дыхание, звуки показались ей незнакомыми; на самом деле она слышала дыхание двоих людей, словно бы слившееся, выходящее из одной глотки. Она прильнула к двери: шорохи стихли, должно быть, она ошиблась из-за своих фантазий. Она распахнула дверь, и тут началась суматоха: кто-то вскрикнул – ей показалось, она уже где-то слышала этот голос, – Жозетт в изумлении застыла у входа, различая шум долго тершихся, а теперь отстраняющихся друг от друга растерянных влажных тел, поспешной возни с одеждой и уверенный, нежный голос Тайгера, говорившего кому-то, что пора уходить. Человек, к которому он обращался, выскочил прочь из комнаты; слыша, как он бежит по коридору, Жозетт на пороге потеряла сознание. Очнулась она на кровати Тайгера, он облизывал ей лицо, изо рта у него воняло мальчишеским хуем.

«Тайгер хочет тебя убить!» – сказала Жозетт Роберу, вернувшись. Впервые после фиаско он надел мотоциклетный костюм. – «Я знаю, – ответил Ро-

бер, – и что с того?» – «А то, что теперь тебе надо внимательнее следить, куда ставишь ноги!» – «И что тогда будет? – спросил Робер. – В этом комбинезоне я непобедим!»

Накануне того дня, когда младшие классы, уступив место берлинскому хору, собирались выехать на прогулку, в дортуаре вспыхнул пожар. Тайгера и Робера позвали тушить огонь, они должны были срочно присоединиться к воодушевленной мужской команде, по звонку ринувшись в раздевалку, чтобы напялить огнеупорные спецовки и сапоги, и нестись в сторону, где полыхало, на бегу разматывая набухавшие шланги; в эти мгновения они позабыли, что нелепая история сделала их врагами и им нельзя растерять копившуюся внутри ненависть, они принялись шутить. Вскоре дети были уже в безопасности, и оба направились с остальными в столовую, где буфетчицы подавали теплую настойку. Они вместе выпили, и Робер, как Тайгер того ожидал, пригласил его прийти следующим вечером на концерт для пилы и арфы, который должен был предшествовать выступлению берлинского хора.

Концерт начинался в восемь, Жозетт и Робер собирались прийти в музыкальный зал раньше, чтобы принести туда арфу, быстро ее настроить и отрепетировать сложные пассажи. В их распоряжении был всего час между шестью и семью, а перед ними должны были репетировать малыши из Германии. Тайгер понимал, что у него остается лишь короткий промежуток времени после ухода детей и до появления Жозетт и Робера, чтобы поменять местами макеты. В три часа Робер на-

дел перчатки и спустился в подвал, он перерезал трубку с мазутом и сразу рванул прочь, подальше от хлынувшего ручьем черного вонючего месива. Он рассчитал, что холодно станет через два с половиной часа. Около пяти, когда Тайгер все еще массировал управляющего, он почувствовал, что пальцы у него цепенеют, натер их маслом, однако ему продолжало казаться, будто по рукам бегают муравьиные орды. Он закончил работу, еле натянул одежду и поспешил в музыкальный зал, думая, что опаздывает. Робер явился туда пораньше: он знал, что из-за холода концерт отменят, и даже не позаботился достать пилу из футляра, он замер в углу, подняв голову к органу в надежде различить, как падает тело. Тайгер не старался изучить макеты во всех несуразных деталях перед тем, как пуститься на хитрости, и теперь чувствовал себя не вполне уверенно. Он поднялся по лесенке и принялся у самого карниза искать макет, чтобы заодно на него опереться. Но пальцы закоченели совсем, чтобы что-то почувствовать; казалось, если б ему отрезали обе кисти, быть может, тогда он хоть что-нибудь был бы в силах нащупать, он подумал развернуться, но внезапно со всей ясностью вспомнил, став гораздо увереннее: он мог сделать еще пять шагов влево, это с противоположной стороны оставалось всего три шага. Он уже не боялся: схватил первый макет и сделал шаг в сторону следующего макета. В амфитеатре Жозетт теряла терпение: она поджидала Робера, чтобы попросить его подняться за настроечным ключом, который органист оставлял всегда на маленькой фисгармонии на балконе. Тайгер сделал еще один шаг влево, держа макет и чуть было не задев органные трубы, натолкнул-

ся на перила и, опрокинувшись, полетел вниз. Робер, как и рассчитывал, различил в крошечной зоне видимости мутную картину падения. Жозетт только слышала звук и ничего не поняла, – ей было страшно, все произошло слишком рано, – она знала, что сейчас Робер уже мертв, он не прислушался к тому, о чем она его недавно предупреждала, и теперь она должна будет вести заурядную, полную ненависти жизнь вместе с Тайгером. Повернувшись туда, где раздался шум, она в ужасе выкрикнула имя погибшего: «Робер!» Робер вышел из убежища и воскликнул: «Я здесь, моя дорогая, не бойся! Тебе все еще нужен настроечный ключ?» Жозетт упала в его объятия.

Тайгера похоронили накануне Рождества на институтском кладбище. По такому случаю Робер надел мотоциклетный костюм, а Жозетт – облезлую меховушку; вероятно, это было не очень пристойно, но никто ведь на них не смотрел, а директор был в отпуске. Похороны оказались так себе: ни большого катафалка с черными драпировками, ни траурных стягов, – могильщики были слепыми, – никто не рыдал, слышались только глухой голос, бубнивший сонную речь, чьи-то вздохи и тяжелое, почти механическое дыхание людей, несших тело; когда они синхронно вдруг затихали, можно было различить шорох при соприкосновения досок с одеждой, от скованных движений по ткани шли складки; затем шуршали ремни, на которых над пустотой раскачивался ящик, все это напоминало зыбь на воде, навязчивую игру буйков и скорлупки, которую сразу уносит вглубь, когда кидают в воду тяже-

лый якорь из стали; пахло разогретой, тершейся о доски веревкой и свежей землей; у тех, кто впервые с печалью чувствовал этот запах, щемило сердце, но скрежет, с которым гроб опускался в яму, был гораздо страшнее; в конце концов от земли как будто бы несло так, словно разум уже смешал ее с плотью; слышались удары от первых брошенных в яму горстей, от холода зажатой в руке никчемной влажной земли Жозетт стало легче. Никто не пел, плеск святой воды звучал несносно, как и мерзкое потрескивание костей, когда преклоняли колени, капельки на лету замерзали. Робер и Жозетт вцепились друг в дружку, кожа и мех соприкасались, и от этого чувствовался мягкий аромат шерсти, ваксы и средства от моли: оба были влюблены, как никогда прежде. Они слушали вздорную надгробную речь. Кюре о жизни Тайгера знал немного, и все это было ложью. «В следующей жизни я буду зрячей», – проговорила Жозетт.

В день карнавала они наставили для меня ловушек: возвращаясь после чтения, я их не видел, не слышал, – они где-то укрылись, а я обратился в слепого, – маски наделили их зрением, ловкостью, злобой. Светильники в коридорах были разбиты, я продвигался вперед шаг за шагом, вытянув руки. Левая нога угодила в петлю, и тут они все повыскакивали из-за дверей кухни, где прятались, накинулись на меня, я узнал в полутьме, под маской, лицо того, за кем еще недавно следил, не сводя с него влюбленного взгляда; казалось, о моем существовании он ничего не подозревает, теперь же он заправлял всем этим, держа в руке нож; веревка натянулась, и я споткнулся, упал

навзничь, дрыгая в воздухе свободной ногой, пах пронизала резкая боль, словно что-то сломалась, и вдруг я увидел матовое свечение маленькой эмалированной ванночки, предназначенной для моих глаз; мой фаворит, подойдя поближе, их выколол, сладенько прошептав на ухо: «Пересадим твои глаза бешеной псине!»

«Мне снился свет, – сказал Робер, обращаясь к Жозетт. – Не то, что я его представлял, нет – я его видел – то крохотное пространство, сквозь которое прежде что-то смутно проглядывало, расширилось, или же это свет был такой силы, – точно не знаю, – но он пронизывал насквозь наши обычно непроницаемые черные целомудренные зрачки. Он высвечивал на лужайке квадрат меж теней деревьев и не желал уходить, не желал меняться или слабеть, и в лучах его без конца кружились пылинки, букашки. Был вечер, без десяти восемь. Во дворе готовилась вечеринка, тут и там стояли столы, накрытые скатертями, в стороне были скамейки для тех, кто не любит шума, меж деревьев висели еще незажженные пестрые гирлянды. На длинном столе перед гимнастическим залом теснились бутылки с вином, посуда, отовсюду на больших подносах несли разные яства, запеченный паштет, выпечку, молочного поросенка в желе, которого никто не решался разрезать. Из репродукторов с разных сторон двора неслась музыка, настолько веселая, ты даже представить себе не можешь, и вскоре собирались уже танцевать. Благотворители прогуливались по аллеям в вечерних нарядах, прикрепив на лацканах членские билеты с указанием пожертвованных сумм, под руку с женами, они

старались нам не мешать, но кружили поблизости, выкрикивая комплименты, когда замечали особенно дерзкие движения в танце. Залитый светом квадрат на лужайке превратился в своего рода аттракцион: все спешили расположиться поближе, но никто не осмеливался переступить границу, замарать эту территорию своими следами; квадрат не смещался ни на один миллиметр, и это уже не было каким-то пространством, заполненным жарким воздухом, где хотелось укрыться, свернуться клубком; все стало будто рисунком, на котором золотились редкие стебли травы; нам хотелось ловить на лету мошек, мы хватали графины, стаканы, подставляли их под лучи света, чтобы они сияли, мы ослепляли друг друга. И в этот момент меня словно вытащили оттуда и вернули, спустя несколько часов. Тогда уже настала ночь, пятно света погасло, празднество распадалось, благотворители ушли, вдалеке под прожектором небольшой группкой еще танцевали, вокруг аплодировали, в память о сиявшем квадрате странным образом горели еще гирлянды, и словно длилась еще феерия летней ночи, казалось, творится там что-то невероятное, исключительное, быть может, так выглядела сама вечность; я выпил несколько стаканов вина, стоял там один на краю света, – тебя не было, – и какое-то время возле меня, словно деревце, словно благой хранитель, замерев, тесно прижавшись к спинке, спал на тобоггане ребенок.

Жозетт отправилась в подвал, чтобы убрать арфу. Она торопилась: пора было на работу в медпункт. В подвальное окошко сочился дневной свет,

лаская ее лицо, когда какой-то шум заставил ее замереть, она стояла, чувствуя, как скользит вокруг легкий воздух, словно разреженный после дождя, среди завес цвели и пара, оседающего на стенах, меж которых блуждают незаметные газы, сочащиеся из прогорклых, просроченных продуктов, дряхлеющего волглого дерева, истлевающей бархатной серости, затхлости, грязи, – ложащейся ровным слоем, скапливающейся, предательски соскальзывающей, образующей оползни, стоки, – распадающихся рваных чулок, волос, вырванных во время объятий и изнасилований, что творятся здесь, в глубине, в дурмане гниения. Запахи здесь не смешивались, они могли находить друг на друга, приветствуя или отталкивая, но воедино не сопрягались, верные ничтожным, надменным вещам, от которых они исходили. От раздавшегося позади шума разнеслось эхо; как ей теперь казалось, это был не шум даже, а чье-то дыхание. Мыском она попыталась нашарить тормоз тележки, на которой только что катила закутанную в чехол арфу: железная защелка лязгнула, упершись в пол. Проведя рукой по раме, Жозетт убедилась, что арфа стоит ровно. Она обернулась в ту сторону, откуда исходило дыхание: раздался кошмарный грохот. Она сразу же догадалась, что издававший все эти звуки собирается с ней развлечься, будет настаивать, прижмет ее к стенке, она испугалась. Она стояла на пересечении двух узких проходов, недалеко от решетки, которую никогда не запирали и которую она как раз собиралась открыть, если сумеет: слева, за небольшим выступом, – она сможет его отыскать, сделав несколько шагов от решетки, – стояла на замке низкая дверца, ведущая,

как поговаривали, к подземной реке или стоку канализации; если получится там пройти, можно добраться до подвалов городской оперы. Все звуки исчезли, в наступившей тишине казалось, кто-то сдерживает дыхание, от этого в ушах загудело, словно прорезался гул водопада; вытянув голову, Жозетт обратилась туда, где все смолкло, готовая бросить вызов; ее тело превратилось в сплошную антенну, и вдруг кто-то проскакал вдали со стороны противоположной, обдав ее комьями вонючей земли, она нагнулась, скрючилась, пытаясь защитить глаза, забыв, что слепая, и готовая к тому, что сейчас обрушится свод. Потом вновь стало тихо, и она опомнилась: глаза ее ничего не видят; теперь казалось, кто-то над ней насмехается, содрогаясь от хохота, то ближе, то дальше, но это была словно какая-то машинерия, устройство с раздувающимися мехами. Жозетт удалялась от арфы, которая могла ее защитить, но тащить ее было уж слишком тяжко, да и скрип мог ее выдать; Жозетт казалось, что можно сбежать через низкую дверь и спастись, она нащупала ключ, прятавшийся в складках юбки, но ключ этот был от кладовки, где обычно стояла арфа. Жозетт вдруг захотелось вернуться к инструменту, но она уже далеко ушла; она повернула обратно, и тут сердце бешено застучало, она замерла, наступив на обломки, в которые превратилась арфа одним движением мощной лапы. Чудовище металось средь лопнувших струн, запутавшись в чехле, словно то смирительная рубашка, оно тут же вспороло ткань своими клыками. И направилось прямо к Жозетт. Она кожей почувствовала, что перед ней зверь огромных размеров, раз в двадцать больше, чем арфа, он пригибается,

почти ползет, чтобы не пробить невзначай стены несчастной башкой на длиннющей шее. У Жозетт был теперь только ключ, и она собралась обороняться, вытянув ключ вперед. Но было уже слишком поздно: перед ней выросло страшно зловонное, ревущее серо-зеленое пятно, оно подкинуло ее в воздух, дробя кости и раздирая плоть, кромсая все тело, радостно его пожирая. Лагодон поглотил ее.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

Я И МОЙ ЛАКЕЙ

Очень странные ощущения, когда открываешь посреди ночи глаза и видишь стоящего рядом лакея – в домашнем халате или пижаме, которую я носил, когда был молод, или же голого, с накинутой на плечи меховой шубой, которую я заказал себе, когда ездил в Москву, – лакей смотрит во мраке, не говоря ни слова, сверля меня взглядом поблескивающих желтых глаз.

Эрве Гибер

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС

«Цитомегаловирус» был опубликован в январе 1992 года, всего через несколько недель после смерти Эрве Гибера в больнице, куда его доставили из-за попытки самоубийства. «Слова побеждают все!», – говорил писатель. Его дневник это подтверждает.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персонажами, меняющими имена и предстающими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?

Эрве Гибер

МОИ РОДИТЕЛИ

Почему двоюродная бабка Луиза перевернула вверх дном квартиру своей сестры Сюзанны? Какие документы она пыталась отыскать, и что было в сожженных письмах? Правда ли, что в них говорилось о постыдном проступке матери Эрве Гибера? Зачем его отец срочно покинул Ниццу, бросив свой ветеринарный кабинет, парусник, зеленый форд, двух лошадей и невесту? К какому шантажу прибегают родители маленького Эрве, дабы заполучить семейные реликвии? И где спрятано золото, которое то закапывают, то выкапывают, не в силах расстаться с ним? – Для родителей нет ничего страшнее неудержимой тяги сына к поискам истины.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

ПОРОК

Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста, открывая для себя видения и страхи писателя и фотографа. Книга, задуманная и написанная в конце 70-х годов, была опубликована незадолго до смерти писателя.

Эрве Гибер

ПРИЧУДЫ АРТУРА

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

ГАНГСТЕРЫ

Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом смерти. Критик газеты Le Monde назвал эту книгу «трактатом о боли».

Эрве Гибер

СМЕРТЬ НАПОКАЗ

Язык и член – полны жизни – оголены, у них нет кожи. Язык – говорит, мокнет в слюне, ест, сосет, входит внутрь и выходит. Член – его едят, он сам ест и льет свое семя. Излияния слов, слюны, спермы. Гомосексуальное тело – анально-фаллическое письмо. Именно тело, конечно же, говорит, пишет, исследуя себя и вписывая себя в текст. Устраивает представления, впадает в истерику, занимается садомазохизмом. Говорит о желании и оргазмах. Раскрывается, рвется, буравится. Описывает свои органы и заставляет играть их, словно музыкальные инструменты. Состоять в садомазохистских отношениях с письмом, – посредством его – вскрывать, препарировать собственно тело и препарировать самое письмо.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ

В 1948 году шестидесятилетний философ Марсель Жуандо познакомился с двадцатилетним солдатом Робером Коке. Их любовный роман продолжался 12 лет. В книге «Школа мальчиков» собраны письма Робера и поклонника Жуандо Анри Роде (1917–2004), раскрывающие тайны этой истории. Лишь после смерти Жуандо открылось, что письма Робера писал Анри, подстроивший встречу своего кумира с юношей.

Марсель Жуандо

НЕПРИСТОЙНЫЕ ПИСЬМА

Гетеросексуальность – это коммерция, индустрия; гомосексуальность – искусство. Древние греки запрещали гомосексуализм рабам. Что до меня, я хотел бы, чтобы он был дозволен лишь мудрецам.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишенные всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Гертруда Стайн

ИДА

10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал отречение от престола ради того, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Известие об этом стало мировой сенсацией. История британского короля и его возлюбленной привлекла внимание Гертруды Стайн. Она решила написать роман «Ида», героиней которого стала бы Уоллис Симпсон. Но постепенно замысел книги менялся. Ида все меньше походила на герцогиню Виндзорскую. Она путешествовала по Америке, перебираясь из одного штата в другой, заводила собак, встречала разнообразных мужчин, порой выходила замуж и наконец обрела Эндрю, своего короля.

Эрве Гибер

ИЗ-ЗА ВАС Я ПОВЕРИЛ В ПРИЗРАКОВ

Толпы зрителей собираются на трибунах. Скоро начнется коррида. Но только вместо быка – плюющийся ядом мальчик, а вместо тореадора – инфантеро. 25 июня 1783 г. маркиз де Сад написал жене: «Из-за вас я поверил в призраков, и теперь желают они воплотиться».

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Тони Дювер

ОСТРОВ В АТЛАНТИКЕ

Тони Дювер считал, что дети и взрослые – два племени, объявившие друг другу войну. Война эта идет на острове в Атлантическом океане, где мальчики от 7 до 14 лет создают секретные анархические отряды. Кто грабит виллы богатеев? Почему умерла безобидная старуха? Когда испытываешь безбрежный прилив отвращения, тоски и страха, возникает безумное, абсурдное желание воровать.

Джослин Брук

ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА

Конец 1940-х годов. Европа ждет новой мировой войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнаженного меча на предплечье. Но началась ли война или это темные иррациональные силы испытывают рассудок героя?

Заказывайте книги издательств «Митин Журнал» и «Kolonna Publications» на сайте shop.mitin.com. Курьерская доставка в России, рассылка по всему миру.

Их также можно приобрести *в Москве*:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Индиго», Ветошный переулок, д. 9

в Санкт-Петербурге:
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)

через *Интернет:*
«Ozon» ozon.ru
«Лабиринт» labirint.ru

в *Украине:*
«Либра» librabook.com.ua

Эрве Гибер
СЛЕПЫЕ
перевод Алексея Воинова